

**II Всероссийский конкурс  
литературных работ  
людей с нарушением зрения  
имени Эдуарда Асадова**

# **ПАСХАЛЬНЫЙ АЛЬБОМ**

Автор:

**Виктор Геннадьевич  
Мамцев**

2023 г.

## ЕВДОКИЯ

До детского сада меня на весь день возили к бабе Дусе.

Как сейчас помню — ночь, я в шапке и валенках, весь закутанный в платках, еду в санках по нашей 4-й улице в сторону клуба «Новый быт», тротуаров тогда не было, а снега и мороза в избытке. Фонарь — на единственном столбе улицы. Мелкий снег колет глаза и щёки, не закрытые пуховым платком. Сколько раз мама говорила:

— Не бери губами платок, не щупай языком, он промокает, станет холодным, и ты примёрзнешь к нему!

А как не трогать, если колючий платок так и лезет в рот, царапает губы, и я его выталкиваю языком, а он, противный, становится мокрым и прилипает ко мне ещё больше.

На улице ни души, высоченный и нескончаемый забор вдоль клуба, скрип снега, калитка, справа маленькая кухонька. Вытаскивают меня из санок, кованые санки ставят вертикально к стене, чтобы не скапливался на сиденье снег, ведут в сени вместе с клубами злющего снега. Темнота — закрыли дверь. И открывается другая — свет, тепло, обдаёт жаром, дымом горячей печки, запахом печева, свечек, улыбкой и добром.

— Пришёл, мой золотой! Раздевайся, сейчас будем пить чаёк с сухариками...

Отец исчезает по мановению руки, не то снег, не то слёзки с мороза начинают капать, я пытаюсь гундеть, что хочу спать, что снег колючий, что неподъёмные санки, что платок опять приклеился к губам, но шуба взлетает под потолок на гвоздь, валенки — к трещащей дровами печке, платок — на верёвку, я — на кровать. На стене висит серьёзный кот, который водит глазами туда-сюда, один ус короче другого, наверное, забияка.

— Не реви, кому говорят!

Столик с чайником, который кажется больше меня, этажерка с толстой книжкой без картинок. Зато много-много картинок на стене и в углу, бородатые дяденьки и тётеньки в длинных платьях, как у бабушки, и самая большая — дедушка с добрыми глазами и большой белой бородой. Перед ним горит светильник с маслом, и от него вкусно пахнет. Тепло, спокойно, уютно, не нужен чай и сухарики, потом покушаю, ложусь — засыпаю.

Во сне я вижу — пришла весна, потому что хожу по тропинке в чёрных сапожках.

— Если мальчик — то у него должны быть чёрные, если девочка — то белые или голубые, но на них грязь больше видно, и поэтому все девчонки — грязнули!

Грядка, огороженная широкими досками, в ней большущие тюльпаны, выше моего колена, стебли упругие, и листики будто покрыты воском, цветы — прозрачные на солнышке и удивительно ярко-красные на фоне серой земли, сараев, заборов, досок и деревянных дорожек.

— Только смотри, не рви! — слышится из кухни голос бабушки. — А то нам попадёт! Они такие красивые и сильные, целую неделю будут радовать нас! — Это было лишним, рвать такую красоту было бы варварством, настолько гармонично

цветы придавали трепета жизни окружающей унылости.

На следующее утро, только войдя во двор, я увидел в окне дома вазочку, в ней стояли аленькие цветочки, вернее свисали, размахнувшись в последний раз своими лепесточками! Они не сияли — окаменели, прямые стебельки — скрючились, лепестки — валялись на пыльном подоконнике. Я обомлел, с открытым ртом и глазами, полными слёз, обернулся к бабушке.

— Вчера у невестки был день рождения, — утирая кончиком платка глаз, не глядя на меня, пробурчала она.

Долго стоял, опираясь на частокол, отделяющий кухню от дома, где живёт её сын с женой, — у них мальчик, да ещё и дочь с двумя своими дочерьми, вернувшаяся от мужа-буяна. Полон дом детей и внуков, а мать переселили в кухню, там уютно, и никто не мешает. Печь, кровать, столик и стул, иконы и аналой — чего ещё желать для молитвенного уединения.

— Дома тебе, мать, делать нечего! — начинала разговаривать с собой вслух бабушка. — Да и право, чего мне там делать? Дом построила, пожила, детей вырастила. У меня всё здесь есть, что надо, он приносит, готовлю сама себе. Для них — всё не так. Ну Бог — судия!

Взросленькие девочки, играющие во дворе в большой резиновый мячик, меня не замечают и не берут играть. Бабка стара, выжила из ума, её отселили из дома, и поэтому её — нет, а раз нет бабки, то нет и тебя. В отличие от бабушки, я вечером вернусь в семью, а там сестрёнка, друг — наиграемся. И я возвращаюсь за стол кухни — слушать, как, стоя у икон, бабушка читает толстую нескончаемую книгу.

Я не помню ни одного слова, прочитанного ею, но, когда позже начал читать евангельские книги, было ощущение, что я это уже слышал, читал, точно знаю, и это у меня внутри, и оно живо, и мне близко.

Переворачиваюсь на другой бок, и сон продолжается.

Праздник Пасхи никогда не проходил без Евдокии Васильевны.

Рано утром приходиться было не надо потому, что всю ночь она стояла на службе в церкви, после службы освящали куличи и яйца, потом шли домой разговляться и отдыхать. А вот после обеда она меня всегда ждала.

Однажды нас пустили в дом, на большом столе стояло столько куличей, как во дворе церкви, на освящении. Большие и маленькие, толстые и тонкие, с ангелочками или голубочками на макушке, блюда с яйцами — изумительной величины и красоты, творожная пасха, и вазочки с конфетами. Я просто задохнулся от восторга, запаха, изобилия! Куличи были белыми и мягкими, сладкими и таяли во рту, помада хрустела на зубах, и посыпка не расплывалась в сахарной глазури, яйца были ярко-жёлтыми, алыми, фиолетовыми, отдельно покрашенные в луковой шелухе, но с отпечатками листочков петрушки или укропа. Такое я видел в первый раз.

— Вот эти куличи я пекла для батюшки в храм, — говорила с гордостью баба Дуся, показывая самые большие и торжественные. — Сейчас приедут, повезут в Покрова — поздравлять архиерея. Много лет спустя уже дочь Евдокии Васильевны — Раиса тоже пекла просфоры в Храме Казанской иконы Божией Матери на Чеховой, а дома — куличи для батюшки, и к ней тоже приезжали за

ними. Мне выдали литровый кулич, размер кулича зависел от формы, в которой его выпекали: от маленьких консервных банок до ведерных, конфеты, пару яиц — одно светло-жёлтое, другое ярко-алое.

— Жёлтенькое — сестрёнке, это, самое красивое, — тебе! Знаешь, почему оно красное? Нет? Когда Богородица пришла к императору и сказала: «Христос воскрес!» Император ответил: «Не верю! Скорее яйцо курицы покраснеет, чем такое произойдёт!» И на глазах императора в руке Марии яйцо покраснело!

Абсолютно счастливый я возвращался домой.

Осенний праздник — Спас, на него я получал в подарок шикарное яблоко, явно покупное и подаренное ей, я смотрел ей в глаза.

— Бери, бери, у меня ещё есть.

Или хорошую кисть винограда «дамские пальчики», росшего у них во дворе. Она усаживала меня за старенький столик, но всегда покрытый новой клеёнкой, клала на блюдце мытую кисть винограда и смотрела, как я его ем. Знала, что живём небогато и позволить себе такое роскошество не можем, или просто хотела подольше посидеть рядом, поговорить, поспрашивать, не обижают ли родители, послушать об успехах, поглядеть, какой красавец вырос. Я смотрел на прозрачные на солнце виноградинки, сочные, сладкие, желанные, а в горле застревал ком, и я просил забрать кисть с собой, чтобы и Таня могла увидеть эту красоту и попробовать эту вкусноту. Баба Дуся понимала, заворачивала в газету, и я аккуратно нёс свёрток домой, где моментально налетал ураган, хватал кисточку и летел на улицу хвастаться.

Последнее сновидение или воспоминание.

Память кажется нам такой надёжной, а она незаметно удаляет не требуемые в течение жизни события, места и лица. Я не помню её лица, не вспомнил, даже когда показали её фотографию, остались только ощущения доброты, заботы, любви, но абсолютно уверен, когда придёт время, так же как с Евангелием, всё всплывёт и будет родным и нужным.

Опять тепло, но поздняя осень.

— Умерла баба Дуся, — сказала мама, — собери все цветы во дворе и сходи проститься. Она очень тебя любила.

Я завернул в газету хрупкие нежные розы и пошёл к бабушке в последний раз.

Гроб стоял посреди двора, частокол убран, ворота в первый и последний раз умудрились открыть.

— Вот и пришёл твой любимчик! — завопила женщина, и всё-всё расплылось, но не в улыбке, как всегда, а в слезах. Меня усадили на скамейку рядом с ней, долго сидели, перебирал пальцами ажурные рюши гроба, вспоминая её убогие чёрные в пол юбки, что-то спрашивали, что-то отвечал. Заглянул в открытую дверь детства — махонькую кухню: печка метр на метр, одноместная кровать, упирающаяся в противоположную стену, узкий проход и столик на две тарелки с новой клеёнкой. Икон не было, уже занесли в дом, чтобы не украли, у стены, где вешали шубки, стояла крышка гроба, ходиков не было — вот и всё, ваше время закончилось. Как здесь можно было прожить столько лет в одиночестве и не задохнуться в своём бессилии что-то изменить. Одному Богу известно, с которым она здесь и жила.

Беззвучно завыл, как пятнадцать лет назад. Вскоре началось движение, вынесли, попрощались у ворот, погрузили в катафалк, повезли ещё на старое кладбище. Я не поехал, обед проходил в столовой, но и туда не было сил идти, да особо никто и не звал, как когда-то играть с мячиком. Катафалк уехал, в доме по обычаю начали убираться, ворота так и стояли открытыми, ярко-красное пятно гроба исчезло, и остались серый забор, сарай, доски дорожек... далёкого сна, только аленького цветочка и Христова яичка уже не было и не будет никогда!

## НАТАЛЬЯ

Во времена своей юности входил с бабушкой в храм, озирался по сторонам, где всё было залито летом и солнечным светом, блестело и переливалось золотом, горящими свечами и лампадами, бархатными хоругвями и всё отражающими полами. В носу свербел приторный запах ладана. Из-под земли звучал грудной непонятный голос отвернувшегося от нас на закрытую калитку попа (так в то время звали всех священников). Смиренно стояли знакомые соседки и незнакомые старички с длинными седыми реденькими бородками, крестясь сухими кулачками.

«А папка-то мой каждое утро броится!» — думал я.

Со всех сторон смотрели хмурыми лицами иконы, мерцающие лампадки и свечи оживляли образы, отчего люди на них шевелились и ещё больше негодовали: «Вот ещё один пришёл! Чего надоть!» — и было не по себе.

А бабушка безмолвно глазами показывала наверх, и я, отрываясь от монотонно-сонного действия, поднимал голову и замирал с открытым ртом. На чистом голубом небе, в облаках, каких на нашем пустом небе и не увидеть никогда, стоял Бог с распостёртыми руками, охватывая или обнимая нас, пришедших на встречу с ним. Я косился на бородатых дедов, не Бог ли стоит в уголке, — уж больно были похожи. И опять возвращался к небу, из кучерявых облачков вылезали животные и птицы.

— Это его коровка, ведь Боженьке тоже нужно пить утром молочко. Вот и пастух или тот, кто печёт ему хлебушек. А это лев — царь зверей, добрый и справедливый, он оберегает Боженьку от злых зверей, прячущихся в камышах, — разглядывая нарисованные на стене заросли с купающимся полуголым дядькой. А другой поливает его голову водичкой из тарелки.

— Вот умора! Не может заплыть подальше от берега, у нас все мальчишки умеют плавать!

А эта птичка с острым клювом и зорким глазом охраняет его в небе, чтоб и там никто не мог ему навредить. Боженьке некогда смотреть по сторонам, если он наблюдает за каждым из нас, и даже вон за той дряхлой старушенцией, тоже пришедшей чего-то просить. А чего уж ей просить? Поздновато. Может, для сыночка или доченьки, тогда ладно, а может, у неё и внуки есть, такие как я.

Становилось жалко старушку, и только решительный вид и улыбка Бога говорили:

— Не бойсь, Витёк! Я пригляжу за ней. И о внуках её присмотрю!

— А ведь сколько от них бед можно ожидать. — И косился на скалящиеся рожи притихших вон там, воров. Я знал, если блестящий зуб во рту и синие наколки на руках — это и есть самые настоящие воры. Они сидели в тюрьме, и там они отливают себе толстые золотые кресты из наворованных денежек. Нужно беречь свои карманы и кошельки даже здесь, в церкви, и я зажимал потными пальчиками свои пустые карманы.

А то вишь, прислонились к задней стенке и стоят безвинными овечками, а сами так и смотрят, какой кошелёк побольше!

Разглядывал верхнюю часть стены, у которой они стояли. А там —

непонятное. Во всю стену длиннющая очередь к ярко-красной пещере, возле которой крутились тонконогие негритята.

На экскурсию што ль? И ско́ка разных людей собралось: и богатые, и больные, и бабки с внуками, и красивые девочки с горбатыми безбородыми стариками. Больные — это я тоже знал, у них на лице язвы, как на плакатах в больничке, где работала моя мама, я её спрашивал:

— Отчего ж эта болезнь?

— Оттого что мужчина хочет иметь много женщин.

— И зачем им бабы? У маво папки только мамка, — недоумённо жал я плечиками.

— Долго же им стоять в такой очередище! — Блеснул зуб у одного стоящего, и он подмигнул мне.

— Ну не-е-ет, в тюрьму я не хочу! И никаких ваших толстых кошельков не надоть! — Отворачиваясь и хватая подол бабушки, прятался.

Потом все выстроились в такую же очередь, как у стене, только в другую сторону, сложили ручки на груди и быстро прошли мимо попа, который каждого тихо спрашивал и длинной ложечкой клал что-то в рот.

«Может варенье, интересно какое? Если будет вкусное, обязательно оближу», — пронеслось в голове.

Подошла и наша очередь, поп спросил, как меня звать. Наверное, хотел познакомиться, чтобы потом на улице здороваться, ведь он каждый день проходил мимо нашего дома на остановку, и я громко ответил. И пока был открыт рот, он ловко успел опрокинуть жидкую водичку своей ложечкой. Во рту всё загорелось и обожгло, я скривился, а вокруг все засмеялись:

— Вот теперь настоящий христианин! — А поп сунул в рот кусочек хлебца.

Бабушка потащила меня в сторону, взяла чашечку чая, стала отпаивать, усадила, но голова кружилась, ноги подкашивались, лицо горело, стало жарко, потом появились слабость, сонливость. Вокруг кружились бабки: жували безвкусный хлеб беззубым ртом, отчего тонкие губы уходили глубоко под нос и подбородок почти касался носа, поздравляли друг друга: «Сподобил Господь причаститься! Спаси, Иисусе!»

А у меня всё плыло, боялся, что засну на виду у обрадовавшихся людей на иконах, наверное, смеялись надо мной.

Спокойствие и умиротворённость разливались по телу, голова прояснилась, и стал оглядываться по сторонам.

С пушистых плюшевых знамён смотрела чья-то мама, прижимая к себе сыночка.

Моя мамочка была бы тоже такой нежной и ласковой, если была жива, так же прижимала к себе, — и на душе становилось тепло и мирно.

Служба давно закончилась, двери никто не закрывал, и весь храм наполнился щебетом воробьёв, все разошлись и было пусто. Бабушка бесшумно ходила и рассказывала, оказывается, она всех хорошо знала. И Боженьку, и его купающегося сыночка, совсем не похожего на отца, хотя уже и была борода,

только чёрненькая. И была целая стена до потолка с царями в коронах и пророками с длинными исписанными бумажками. И маленькие картинки с праздниками Боженки, совсем как фотографии в нашем семейном альбоме, который хранится в таком же мягком мешочке, из такой же материи, как и знамёна.

— А это его мама, и на ручках он, только маленький. — Чернобородый совсем не был похож на малыша, это уж я точно видел. — Вырастешь, тоже такой большой и бородатый будешь! А это мамочка принесла его в храм — как мы сейчас, а здесь он с друзьями на праздничке, а здесь улетает на небо к своему отцу.

— Давай поставим свечи всем, кто нас покинул, и мамочке твоей, она сейчас смотрит на тебя и радуется, что ты пришёл не только к Богу, но и к ней в гости. — И я напрасно пытался разглядеть в облачках маму, наверно, сейчас занята, нужно попросить бабушку прийти вечером, может, тогда она освободится от работы, и получится её увидеть.

Она поджигала свечи от других и ставила в тюльпанчики на блестящем золотом подносе.

— Что за камни и череп? — деловито спросил, показывая на огромный выше меня крест с висящим на нём человеком.

— Не узнал? — крестясь, спросила бабушка. — Это же Иисус, сын Боженки, его люди осудили и распяли, видишь, гвоздики в ручках и ножках.

— За что?

— За то, что назвался сыном Бога!

Было жалко его, только искупался в речке, вечером погулял на празднике с друзьями: «Наверное, и вкусный яблонный сок пили, а не эту горькую поповскую бурду», — и вот... Осудили!

Как-то неправильно это, не по-человечески. И я вспомнил, как на дне рождения соседской девочки, которую я любил больше всех на земле, самый большой кусок торта дали не мне, а Серёжке, потому что он прочитал дурацкий стишок.

— Это называется «Голгофа», гора такая в Иерусалиме, где он жил, он долго ходил по стране, людей лечил, добро делал, однажды тремя хлебами пять тыщ человек накормил, даже мёртвых воскрешал. А люди так с ним обошлись, на помойке распяли и смеялись, и били, да чё уж говорить! — махнула рукой бабушка.

Было обидно, я знал, что такое помойка, возле каждого дома она была и дядька-милиционер штрафовал хозяек, если она разрасталась, лучше бы они распяли воров, чтобы у бабушек кошельки не тырили.

— А череп — это кладбище? Там везде черепа. — Вспомнил посещение могилки мамы, где валялись, как мусор, огромные белые кости че-ло-ве-ка!

— Да, кладбище. наших грехов, а череп — Адамова голова, первого человека и первого греховодника. А вот поле наших грехов, — показывая на поднос со свечками, понурилась, — каждая свечка — чей-то грех, и его надо вспомнить, осознать, и просить Бога о помиловании. И ты перед тем, как поджигать свечечку будешь, вспомни свой грех, тогда поджигай и ставь.

Грехов было много, весь поднос был заставлен свечами, и чужие грехи норовили обжечь ручку.



Пытался вспомнить хоть один свой грех, но не получалось.

Может, бабушка вспомнила выпитую мной сгущёнку или вылизанную розетку с её любимым вареньем, а может, разбитую вазочку, стоявшую на этажерке и улетевшую, когда мы с Серёжкой спорили? Не может же она знать, что мы вчера подрались с ним, и я ему поставил фингал.

У меня загорелись щёки — сейчас бабушка была Боженькой! Глубокомысленно подумал, вздохнул о своих не вспоминаемых грехах.

Да разве это грехи? Поставил загоревшуюся свечку: «За будущие грехи», — решил я и перевёл разговор, пока задумалась бабушка:

— А на иконках кто? У нас дома таких нету! Все сурьёзные — родственники? — увильнув от слишком требовательной горы, спросил я.

— Это дом Боженьки, — неопределённо взмахнула рукой она. — А на иконах все, кто его знал и любил.

И я ходил по его дому, заглядывая в лица его родных и близких, у каждого горела свеча, никто не забыт и был жив. Смотрели на меня своими добрыми глазами.

— А сколько им пришлось пережить, бедненьким, — продолжала бабушка. — Этих посекали мечом, этому отрубили голову, этого распяли вверх ногами, и этих трёх сестричек вместе с мамкой пытали и убили, а вот этих деток посадили в железную клетку и в печку огненную! Но Боженька всех спас, и сейчас они все живы у него на небушке!

И я поднимал голову, радостный Бог расплывался, исчезал, наверное, ему пора было торопиться на работу, как папке, идти помогать людям. Слёзы стекали по щекам и, казалось, текли по груди, обжигая сердечко, которое так и хотело выскочить из-за жалости и любви ко всем, даже ворюгам, исчезнувших набрав толстых кошельков.

Мы вышли во двор, взяли маленькие свечки домой, нам дали просвирку в виде пузатого грибочка с крестиком на шляпке. Теперь я знал, что этот красивый крестик, висевший не только на всех углах и крыше церкви и у меня на шее, и у каждого прохожего и даже шее воров, — это напоминание о большом кресте, на котором за нас умер сын Боженьки и от которого улепётывают все чёртики, пугливо выглядывающие из той красной пещеры.

— Неси аккуратно и всех угости хлебушком, который даёт тебе Боженька. Спаси, Христос! — благословила женщина из окошка.

Сияло приветливо солнышко на чистейшем голубом небе, я скакал то на одной, то на другой ножке, в ручке была сухая тёплая бабушкина рука, и я чувствовал её нежность и любовь ко мне. В другой — пузатый грибочек для сестрёнки, от которого так и хотелось откусить ма-а-аленький кусочек шляпки, но непременно нужно донести его целым и поделиться с папой и мамой — другой мамой, тоже любящей меня. Поделиться не только красотой грибочка, но и переполняющей меня любовью. Я знал, что мне всё равно достанется кусочек хлебца Боженьки, его всегда хватает всем, ведь он смог накормить «пять тыщ тремя хлебами».

И я знал, что он незримо, с распостёртыми по всему небу руками, охраняет любовью меня, сестрёнку, папу, маму, бабушку и всех-всех-всех! И я никого не

боюсь, даже воров!

Моё сердце скакало так же весело, как и я, и хотело выплеснуть любовь, полученную несколько минут назад из кучерявых облачков Боженьки!

## АННА

1970 г.

На валу, между новой школой № 7 и старой школой Томилина, жила семья дяди Володи Сметанникова: отец — Михаил, мать — Анна, три сестры и сын Владимир. С дяди Володи по батюшке Михайловича пошла традиция называть детей именем отца: если дед был Михаил, то сын — Владимир Михайлович, у него сын, мой брат — Михаил Владимирович, его сын, мой племянник — Владимир Михайлович, будем ждать продолжение традиции, сейчас только дочь — Ева Владимировна.

Отец уже был древним стариком, весь образ его жизни сводился к тому, чтобы утром спустить его со второго этажа на первый и усадить на табуретке в тени винограда, так он и сидел целый день, говорил очень невнятно, еле шевеля губами, но дочери и жена кое-как догадывались и спешили выполнить пожелания. Последний год уже и не поднимали наверх, поставили полог, на летней кухне, там и доживал свой век и последний год.

Бабушка не уступала ему в летах, но была очень живой и эмоциональной. Сухая, с пронзительным взглядом, решительная и требовательная, грубоватая и бескомпромиссная. Дом был двухэтажный, но не потому, что жили богато, а потому, что стоял у реки, и весеннее половодье могло, да и заливало двор. На первом этаже была летняя кухня, мастерская. Жили на втором: две комнаты — одна детская, в которой помещались три великовозрастные сестры и брат, вторая — спальня родителей, фундамент просел во двор, и поэтому лакированные полы имели уклон, на котором мы катались в носках. Были длинная зимняя кухня и балкон во двор, на котором пили чай, длинная широкая лестница тоже во двор. Балкон служил навесом над кухней нижнего этажа, и все действия проходили здесь. В спальне вся стена была завешана иконами, на этажерке лежала неподъемная открытая книга с закладкой, висели лампадки, стояли подсвечники, блюдечки с разрезанными просвирками, множество листочков с молитвами, поминаниями усопших и заздравными прошениями, приготовленными бабушкой заблаговременно, а не наспех написанными в церкви. В церковь ходила каждое утро и вечер, был даже разговор, что она хотела уйти в монастырь.

— Но куда девок девать? Кто об них беспокоиться будет?

Церковь было хорошо видно как с балкончика второго этажа, так и из огорода. Вела хозяйство, огород, девок, а сын был отрадой и радостью всей жизни.

Однажды мы, пионеры, затеяли спор во дворе о религии, младший брат говорил:

— У бабушки вся стена завешана иконами, и она каждый день за нас молится Богу, вечером читает толстую книгу, а там столько интересного, мы все слушаем. Телевизоров в те поры — не было и в помине, и был настоящий праздник, если можно было пойти один раз в неделю в клуб на кинофильм. Детей на вечерний сеанс не пускали, были специально детские сеансы с мультфильмами, а детских фильмов не снимали или до нас они не доходили. Сеанс был днём, и вопрос «идти в кино или делать уроки и помогать по хозяйству?» не стоял. А обязанностей хватало! Поколоть мелкие дрова, переложить дрова с места на место, чтобы успели высохнуть до осени и дождей, успеть перенести их в подвал на зиму. Принести воды из колонки на улице, прополоть траву в огороде и на улице, подмести дома,

во дворе, на улице, выпрямить загнутые гвозди для строительства дома, выучить уроки, собрать алычу, вишню или сливу. Часами мешать варенье, чтобы не пригорело на керосинке, сдать пустые бутылки, а на эти деньги купить керосин в керосиновой лавке. Занять очередь в овощном магазине и бежать за мамой, когда машина привезёт помидоры или картошку, арбуз только в получку или на праздник. Картошку высушить, а помидоры крутить, отжимать через сито, варить сок, закатывать. Позднее приходило время капусты, и опять резать, мельчить, тереть морковь, мешать, трамбовать, заливать рассолом. Ходить за хлебом, хрустеть капустными кочерыжками и глотать слюни, когда тётки покупали прозрачные сахарные головки. С утра ходить на молочную кухню за молочком, кефирчиком, творожком для сестрёнки, потом мыть эти бутылочки в холодной воде. Ходить к восьми часам к магазину «Восток», чтобы стоять в очереди за молоком до десяти, ждать, когда привезут бочку на колёсах и начнут продавать, если занимать очередь позже, могло не хватить. Раз в неделю убираться в доме, вытирать пыль со шкафов и этажерок, стульев и окошек, мыть пол, вечером, когда все придут с работы, мыть обувь и сапоги, ножом отковыривая грязь, и располагать у печки, чтобы до утра успели просохнуть. Это была обычная повседневная жизнь. Взрослые ходили на работу, а старики и дети на хозяйстве.

В школе говорили, что Бога нет и не может быть, потому что космонавты летали и никого там не видели, наука делает такие открытия и чудеса, что дух захватывает, человек распахивает целину и собирает столько хлеба, сколько не было до революции, строит электростанции, плотины, фабрики и заводы, пролетарий победил контру и вышвырнул царя, и империалистов, победил фашизм и разруху после такой страшной войны. Вот читайте книжки у нас в библиотеке: как жили и чем жили люди до революции и как стали жить сейчас в свободной стране, как религия шла на поводу у правящего класса, угнетая народ, почитайте-почитайте «Забавную Библию» или «Забавное Евангелие», там всё написано, как попы нас обманывают и дурят голову сердобольным старушкам, а на самом деле живут за их счёт и жируют, видели, какие у них животы!

Мы смеялись. А утром два потока шли вместе: один в церковь, другой в школу. Выходя из дома, мы видели вереницы старух и редких тогда стариков, да и женщин, стремящихся быстро перекреститься и забежать ненадолго в церковь, находящуюся рядом со школой. И долгий колокольный звон, начинавшийся ровно с большой переменной, но недолго — потому что его запретили. Кованые ограды высокого забора, кресты на стенах, резные кирпичи, решётки на окнах, в которых мерцали огоньки свечей, — всё напоминало окутанный тайнами рыцарский замок, притягивающий неизвестностью. Правда, откуда нам было известно о рыцарских замках? В то время и наш Кремль для нас не существовал.

— Есть ли Бог или нет, а если есть — покаж!

— Вы, нехристи! — гневно говорила бабушка. — Бог он всё видит!

— А где же он? Что-то мы его не видим, и на небе ни облачка, в котором он прячется, — заводились мы, вернее я, так как был старше.

— Вы поэтому и не видите, что не верите! А он пристально смотрит за каждым и видит все ваши дела и мысли. И вот из-за этих своих тряпочек, — тыча пальцем в наши галстуки, продолжая свой гнев, говорила она, — будете жариться на сковородках в аду, — триумфально заканчивала она.

Это было ещё то время, когда пионеры носили галстуки даже дома, правда.

Попроще, подешевле, чем в школу, прошло буквально несколько лет, и носить галстук стало стыдно, и после школы его прятали в карман. Вспоминаю бабушку, перед глазами встаёт образ суриковской «Боярыни Морозовой» — такая же сухая, в чёрном длинном платье, скорее всего, единственном, и такой же палец, только не в небо, а мне в грудь.

Дочери спешили успокоить мать, уводя её подальше, но и оттуда долго был слышен её утробный бас. А к нам обращаясь, говорили:

— Всё не просто в наше время, и война недавно прошла, сколько людей поубивало, прошло столько лет, а люди только-только начинают возвращаться к нормальной жизни от неё проклятущей, строить новые дома, получать квартиры и образование, вон вам какую новую школу построили, окна светлые во всю стенку, только учитесь... но бабок не троньте! На их плечах всё это вынесено, и погибшие мужья, и голод, и разруха, и мы — дети, и восстановление страны. Во что они верят, не ваше дело! Пусть верят, во что хотят и кому хотят, если им это поддержка и сила, чтобы жить самим и нас тащить! И вас, балбесов, ещё баловать карамельками.

Я считал, загибая пальчики:

— После войны прошло двадцать пять лет! Я родился через шестнадцать, сколько же должно пройти лет, чтобы человеку прийти в себя после войны?

Я вспоминал ветеранов, приходивших в школу на День Победы, звеня медалями, и мы дарили им цветы, помнил рассказы мамы о детях, которые остались без отцов, помнил инвалидов на роликовых колёсиках на Больших Исадах, музей боевой славы с пулемётами, автоматами, и даже сидящий рядом немой дед прошёл эту войну, и Миша показывал его медали на пиджаке в шкафу.

Пристыжённые, мы поднимались в горницу — шли разглядывать чёрные иконы, поджигать заканчивающиеся свечи и листать толстую книгу, написанную вроде бы русскими буквами, но непонятными словами.

— Не трогай! Бабушка запрещает даже заходить сюда, а не то чтобы трогать или, упаси Боже, листать!

— Я только гляну. — Но от перелистываемых толстых страниц текст не становился понятней, картинок не было, и я аккуратно возвращал всё на прежнее место.

Время ещё не пришло!

«Избрали новых богов, оттого война у ворот» (Суд.5:8).

## АЛЛА

1960 г.

Свадьба была в разгаре!

Про стариков история умалчивает, но живые отцы, у кого они остались после войны, и постаревшие матери — конечно, радовались, а молодёжь веселилась во всю. Шатёр еле вмещал приглашённых. На скромных столах картошка да солёная капуста, помидорка, самогончик да рыбка, зато пели и плясали все: и немногочисленные родственники, и доброжелательные соседи, и бессеребряные друзья. Сестра Галина, подруга Аллы, друзья детства Геннадия — Лёвка с Марией, недавно тоже поженившиеся, румяная тётка Раиса с мужем, налегавшим на питье, сестра матери Тая и её муж Саша — белорус, Валька, не успевающая наводить резкость на новеньком фотоаппарате, заводная полногрудая Симка с бравым капитаном Мишкой, Лёша и Валя, успевшая закончить техникум с Аллой, тоже только поженились...

На очередное пожелание долгой совместной жизни жених нараспев басом, как в церкви отвечал:

— Да не послужит во вред младенцу Ген-на-дию-ю!

Все умирали со смеху, чёкались, пили, бежали беззаботно танцевать. Матери — Наталья и Вера — сидели в сторонке, смахивая слёзы счастья, что, быть может, детям повезёт больше, чем им, потерявшим свои половинки в полоне войны. Гармонист был нарасхват, успевая не только закладывать переливы кадрили и вальса, но и закладывать за воротник, только закончился очередной танец, и все разгорячённые кинулись на перекур: мальчишки, чтобы показать свою взрослость и умение подымить, а девчонки — перевести дух и поближе прижаться к разгорячённым пацанам. Шатёр, как всегда, стоял посередине улицы, и каждый желающий мог поглазеть на праздник, никаких развлечений в те времена почти не было, и снаружи собиралось народу больше, чем в шатре, да и могла перепасть конфеточка или рюмочка. Все кружились вокруг жениха и невесты, а, извините, теперь мужа и жены — орали и смеялись, потом обратили внимание, что все ротозеи разошлись, наверное, поздновато. И вдруг из темноты вышла одинокая старуха в чёрном длинном платке и платье, качая головой, с сожалением в голосе произнесла:

— Милые мои, да что ж это вам никто не сказал, что сегодня нельзя делать свадьбы, сегодня День памяти Иоанна Крестителя. Как жаль вас таких молодых и счастливых, но жить вам вместе он не даст.

Все недоумённо переглянулись, а когда с молодым задором обернулись к старухе, чтобы ответить, её уже не было.

Начали переспрашивать — кто такая, но все жали плечами, не зная, что ответить, ведь знали всех живущих в округе. Зазвучал новый танец, курево салютом полетело в кусты, и все побежали в танцевальный круг, стараясь успеть в центр. Прошёл ровно год и ещё ровно одиннадцать дней после 11 сентября, Дня усекновения главы Иоанна Предтечи, и Аллы не стало, а появился на свет я, вместо неё. Мы в этой жизни встретились буквально на несколько минут.

Сколько раз бабушка заставляла отца рассказать мне о маме, и ни разу не

получалось, сначала меня звала бабушка:

— Иди сюда, отец хочет поговорить с тобой!

Уходила недалёко, прислушиваясь. Отец сидел истуканом, начинал, как школьник теревить штанину, подбородок начинал дрожать, скулы ходить ходуном, глаза слезиться, потом капали слёзы, цедил сквозь сомкнутые зубы:

— Сынок! — Слёзы лились ручьём, и разговор заканчивался: — Не могу!

Выходил, приходила бабушка и в который раз повторяла историю.

Детство проходило на улице родного посёлка, где все знали каждого и каждый знал всех. Были две подружки Галя — родная сестра папы Гены и её подружка Алла. Как и положено было подружкам, играли в кукол, то у одной в доме, то у другой во дворе. Старший брат был в авторитете, и когда заходил к ним, приходилось принимать его в игру, которая в те времена называлась просто — «папа и мама». Все злободневные вопросы семьи решались бабками вечером на скамейке, отцами на работе с мужиками, женщинами у забора с соседками, взрослыми пацанами со сверстниками в подворотне, а девчонками с подружками в игре «дочки-матери».

Какие страсти ни развивались в игрушечной жизни, оканчивалось одним и тем же — Алла закутывала куклёрку в пелёнку и отдавала Генке со словами:

— На, качай, ты же отец! Успокой его, он орёт не переставая, у меня сил никаких не хватает! Он, наверное, голодный, покорми, вон соска! Учись! — надувала губки, изображая недовольство. И Генка укачивал малыша, поглядывая на довольную Алку.

Вместе ходили в школу, смотрели фильмы, на танцы. Геннадий ушёл служить в танкисты, попал в Чехословакию водителем на уазик — возить начальника. Для Аллы других не существовало.

— Мой Геночка! Вот Геночка вернётся! Люблю? — жала плечиками. — Просто он мой! А я его.

И он вернулся, и женился, и жили счастливо, и весело. Всего годик...

Жили на улице Революционной у её бабушки. Перед тем как рожать, затеяла генеральную уборку, помазала печку (так называли побелку — мелом), потравила тараканов.

— Гена на работе, а мне несложно, зато потом приедем в чистоту! Будет некогда, и начнётся новая жизнь.

— Алка, не боишься рожать? — спрашивала Галина.

— Нет, Гена ждёт сыночка, главное, мне говорили на курсах, не уснуть после родов.

Отвезли на лодке через Болду (моста тогда не было), где ждала скорая. Через несколько дней обратно... в гробу.

— Что-то недосмотрели врачи.

И всю мою жизнь врачи, как бы извиняясь, за тот недосмотр вытаскивают меня.

После похорон отец высох и был белее простыни. Спасибо, договорились с

Валентиной, они учились вместе в одной группе и жили рядом, у которой родилась девочка, и меня носили к ней кормить. Я вырос на руках бабушки и Галины, когда отец вечером приходил с работы ему говорили:

— Возьми, поддержи хоть в руках.

Брал, смотрел, наворачивались слёзы.

— А-а, сынок! — И отдавая, рыдал.

Каждый мой день рождения был испытанием для него, приглашали гостей на день рождения, а для него это был день её смерти, и поздравляли виновника её смерти, и он должен был радоваться со всеми, не показывать виду, сдерживать себя, и нажравшись, садился в уголке дальней комнаты и закрывшись руками, ревел.

— Пап, ты что?

— А-а, это ты сынок! Да нет, ничего, я сейчас! Вспомнилось...

Безотцовщина, война, голод, приходили с меньшей Галкой к бабушке, живущей на другой стороне улицы.

— Бабушка, дай чего-нибудь покушать.

— Да что ж я вам дам, миленькие мои?

— Да хоть игрушку!

Игрушка — не Буратино, а просто полешко, замотанное в тряпочку. Вся радость жизни — тоненькая девочка, с огромными глазами, прямым носиком и роскошными вьющимися волосами, нежная и не дающая спуска. Росли рядом, дрались, мирились, учились выживать, жить, чувствовать, видели, как хорошеет и расцветает рядом родное уже по существу, притягивающее по природе и предназначению тебе создание, в мечтах строили планы, семью, уютный дом. Через столько лет достигнув желанного, очутиться одному с орущим голодным кулёчком в руках.

— Всё-таки ты мне опять всучила куклёрка!

Поражаюсь жизни! Её обещаниям и взлётам, вывертам и обломам, как человек находит в себе силы преодолеть беду, после которой и жить-то не хочется? Искать замещающие элементы и детали разрушенного, из праха начать строить дом, ездить по всей стране в командировки, найти другую кучерявую девчонку, попытаться заставить себя если не полюбить, то уважать её решение помочь тебе — преодолеть, возродиться, достичь. И сжав зубы, жить долго и счастливо, воспитывая детей и внуков. Просто жить!



## ГЕННАДИЙ

2011 г.

Первое апреля — день смеха, розыгрышей, приколов, радости...

Мой отец всю жизнь был шутником, всем находилась забавная фраза, анекдотец, история, доброе слово.

Его традиционное приветствие «С праздничком!» вызывало неизменную улыбку у любого собеседника. Став одиноким пенсионером, выходил вечером на угол дома, где каждому прохожему с работы говорил:

— С праздничком!

— Каким, дядь Гена?

— Как «с каким»? Сегодня же четверг! Первый на неделе!

Кто-то искренне смеялся, кто-то улыбался старику, которому нечего делать, вот и стоит на перекрёстке. Кому теперь дело до человека, своими руками построившего гормолзавод и хлебокомбинат имени Лемисова, ставившего новейшее оборудование на консервном и заводе Сталина вместе с немцами, рыбокомбинате и мелькомбинате. Объехавшем полстраны со своей бригадой, получавшем трудовые медали и знамёна в зале филармонии на ежегодном празднике строителя 25 августа, грамоты и премии, бывшем депутатом и наставником, сколько людей прошло через его руки и сердце. Кто, кроме родных, поймёт переданную сыну любовь к творчеству, дочери — всех поучать, нежность к жене и мужское чувство дружбы, честность и порядочность, желание жить!

И умер именно в этот день.

Был четверг, 1 апреля — праздник смеха, я уже был на работе, позвонила Татьяна и сказала о его смерти. Отпросился на три дня в рекламном товариществе, вспомнил о вечерних занятиях в фотостудии, набрал номер С. И. Кулибабы — директора АОНМЦНКа, назвался:

— А кто это такой, я такого не знаю?

Недоумённо посмотрел на телефон, номер Сергея Ивановича, сверкнула строка с датой — «1 апр 2011», тут же всплыл сегодняшней праздник.

— Извини, мне сейчас не до смеха, у меня умер отец, и я на занятие не приду.

— Извини, я не знал, конечно, конечно!

Таня к моему приходу уже всё организовала, у неё была готова одежда, зеркала и телевизор завесила, позвонила в поликлинику, там сказали, если он состоял на учёте у доктора с заболеванием сердца, то вскрытие не нужно, и врач придёт и выпишет справку на месте, позвонила врачу, который делает бальзамирование.

— Как только будет справка, приду и сделаю всё необходимое.

Валера с сыном поехали на кладбище договариваться о могиле, осталось сходить в кафе и оформить поминальный обед. В принципе всё было готово. Он, спокойный и мирный, лежал на своём диване, все окна нараспашку, комната залита

светом и весенней прохладой.

Когда-то здесь лежала бабушка, совсем недавно — мама, прошло ровно три года, без одиннадцати дней, опять эта роковая цифра 11... умильно смотрела Смоленская Богородица, которой отец и мать благословляли нас, теперь скорбит за него. Горела лампада, лежало Евангелие. Вспомнил, как в советские годы, бабушка крестила в этой светящейся комнате детей.

Не менее десяти — из Икрянного, Ахтубинска, Бог весть откуда, родных или знакомых.

Бабушка оставляла гостей дома и шла в церковь, перешёптывалась с батюшкой и возвращалась домой:

— Договорилась, после службы придёт.

Садилась пить чай, говорить, вспоминать знакомых, как налаживается жизнь. Только вот: «Церквы нету!», пеленали удивительно спокойных детей, будто понимавших ответственность момента. Закрывали зеркала, готовили крестильные сорочки, полотенца, крестики. Приходил батюшка, косился на пионеров — тогда все пионеры даже дома ходили в галстуках, но бабушка уверяла, что они всё понимают и никому ни-ни. Мы снимали галстуки в карман — невпервой, вешали невесомые крестики, становились крёстными неведомому ребёночку.

В красном углу, где висели иконы, ставили табурет, новый эмалированный таз, наливали чистой тёплой воды, священник одевал поручи, лепил свечу на таз, зажигал, поправлял крест, проверял наши крестики и начинал обряд. Священник читал молитвы Богородице, и она одобрительно моргала в мерцании лампадки, мы с ребёнком ходили вокруг таза, держа дрожащими руками новое хрупкое существо, плевали на красный ковёр, висевший на противоположной стене, отрекаясь от козней сатаны, бабушка улыбалась, бубня в такт батюшке, мамки хлюпали носами и поминутно утирали глазки. И наша комната становилась шире, наполнялась запахом свечей, блестящий белый потолок улетал ввысь, и зал превращался в храм. Радостно крестились, благодарили батюшку, предлагали откусать, чем Бог послал, отказывался — уходил.

Пришла врач из поликлиники, не входя в зал, на кухне выписала подорожную, ушла, следом за ней пришёл мастер по бальзамированию, попросил принести пару табуреток, ровную прямую поверхность типа столешницы и таз, проверил одежду, переложили отца на дверь и выставил нас из комнаты, мол, сам управлюсь, хотя я предлагал помощь. Хорошо, что не остался, это понял, когда он попросил вылить полный таз, как мне показалось, крови!

«Вот и всё, что остаётся после человека! И это на помойку! С чего начинается человек, с чистой водицы, и заканчивается», — вспоминал я, держа дрожащими руками таз.

Должны были привезти гроб, и пока Таня убирала комнату, я стоял на улице переводя дух.

Ко мне подошёл незнакомый в костюме с галстучком, из чего я понял — неместный. Оглянувшись по сторонам, вспомнил, что совсем не далеко молельный дом, и понял, что за человек.

«Сейчас будет агитировать», — мелькнуло в голове.

— Я хочу поговорить с вами, можно? — не поздоровавшись, начал он.

Впрочем, как бы это выглядело: «Добрый день!» или «Здравия желаю!» — неуместно, значит, человек в курсе, что в доме беда, и на этой волне решил влезть со своими измышлениями.

— Давайте поговорим!

— А вы знаете, что того света не существует?

— И что теперь?

— Да ничего, просто суета с похоронами не имеет никакого значения! За гранью смерти — пустота! Там нет ничего, и никто нас не ждёт, как написано в главе преподобного...

Это я уже слышал! Он намеревался или сказал имя и главу, где это написано, блистая эрудицией и памятью, но я не дал ему закончить.

— Значит, — остановил я его мысль, — православия тысяча лет. С рождества Иисуса прошло более двух. Люди все эти годы жили и поклонялись ему зря?

— Ну почему? Я этого не говорил. Бог только один — и это Иегова, личность Иеговы воплощает все свойства Бога, и он в христианстве с первого века.

— Если вспомнить Ветхий Завет постарше будет! У нас седовласый дед — у вас Иегова.

— Бога нет, как сущности или личности, он не может иметь конкретного образа.

— Это у вас, а наш очень даже симпатичный и сильный мужик. Я уж не говорю о сыне и святом духе.

— Иегова не Иисус, и Иисус Христос не Бог! Святой дух — это сила Иеговы, так же как слава, премудрость.

— Соединить всех в одну троицу нельзя! Это язычество!

— У нас в крови есть и язычество.

— Христос был первым совершенным творением на небе, раньше Адама, божественный посланник — пророк Иеговы. Знаете, как Иисуса Христа звали на небе, до рождения на Земле?

— Я всегда знал, что его родили в Назарете.

— Его звали архангелом Михаилом!

— За что же Михаила понизили в должности и сослали в теле Иисуса? Иисус не сын Бога, не искупил наших грехов, не воскресал и не ждёт нас? Там! — махнул я наверх. — Кто же он?

— Иисус не всемогущ и не равен Иегове, он исполнял его волю, за это воскрешён. У него другая роль: в конце света он будет предводителем помазанников, взятых на небо после смерти, сто сорок четыре тысячи духовных личностей примут участие в истреблении безбожного человечества после победы в Армагеддоне — священной войне с сатаной.

— У нас попроще, грешен — на сковородочку! А у вас куда?

— Свидетели Иеговы не будут принимать участия в уничтожении злых людей, но будут наблюдателями того, как это сделает Бог. А великое множество свидетелей будут жить вечно в раю на земле. В течение тысячи лет царём Земли

будет Иисус. Будет воскресение достойных людей, но их ждёт последнее испытание и окончательное уничтожение сатаны.

— Не зря у нас в церкви не советуют самостоятельно читать Апокалипсис! Отца — не видать, Дух — зависимая сила, Иисус — злодей, всех в прах, и тут ты такой красивый, из ворот на лыжах — того света нет! — съёрничал я.

— Каких ворот? — изумился он.

— Да ты, брат, и русского языка не знаешь, — завёлся я. — Ворот, из которых весь народ, и я произнёс фразу по-русски с использованием идиоматических оборотов.

Он остолбенел:

— Ну зачем же вы так грубо?

— Вы, зная, что здесь беда, пришли со своей «колокольней» и трезвоните? Мои предки были дураками и не знали, кому молиться тысячу лет? Того света нет, пусть будет, по-твоему, мне теперь что, хлопать в ладоши? Мне от этого легче, или, может, мне пойти в твою халупу и петь гимны, пялясь на пустые стены, и смотреть в пустые глаза твоих прихожан?! — вспомнил рассказ сестры, ходившей к ним «попить чайку». — Ты отвращаешь народ от веры отцов, заставляешь нести тебе деньги.

— Ваши попы тоже собирают десятину, — парировал он.

— А ты куда? В Америку? Извечным врагам? В какую-нибудь Пепсильванию! Это наши попы, и куда они дели свою совесть, их спросят там, — опять показал рукой вверх, — найдётся тот, у кого она есть и у кого есть на это право. И попы будут не первые в этой очереди!

— Я вижу вы читаете Писание.

— Бывает.

— Я рад! Читайте почаще, — традиционно начал он прощание. — Ведь у нас единый Бог, и мы как можем проповедуем его истины, за столько лет гонений народ далеко ушёл от Бога и его надо просвещать!

— Просвещать! — Я смотрел в самоуверенную холёную рожу с чистыми пальчиками. — Сударь, вы не забыли, кто принёс это «просвещение» на Русь, всю эту нечисть во главе с кырлы-мырлы? Кто у вас по-своему переосмысливает и интерпретирует Слово — ставит себя вместо Него? Кто довёл Россию до разрухи в войну, пе-ре-строй-ку? Сколько раз ваши сулили конец света, а на Русь конец света приходит только с вашим приходом! Бог — единственный, кто помогал бабам найти опору в жизни и вселить надежду, выкормить голодных детей, перенести потери и смерть, смерть, смерть!

— Мы не занимаемся политикой!

— Только нас тяните туда на аркане всем своим бедламом! Не-е-ет! Слава Богу, у нас разный Бог! — Внешне оставаясь спокойным, а внутри всё клокотало, и я от души послал его напоследок чисто русским, как бы сейчас выразились: «Отправил в пешее эротическое путешествие».

На следующий день, после службы, прибежал попёнок из нашей церкви. Шустрый, наглый, посмотрел, как и что в комнате, оценивающим взглядом, расчистил пространство для службы, проверил положенный комплект и выскочил

во двор ждать батюшку, не преминув напомнить:

— Ну тысчонку батюшке за службу положите в карман, ну и мне тоже.

— А-а-а, вона как! — Всплыл в голове вчерашний разговор. — И ты туда же! Живчик малохольный!

Деньги было не жаль, но как это было проделано.

Батюшка пришёл скоро и начал отпевание, серьёзно и степенно, с чтением молитв, апостола, разрешительной молитвы, кадил и сам себе подпевал. Всё, что пришлось сделать помощничку, разжечь угольки и подать кадило, ни слова, ни мычания. Вышли во двор. Батюшка напомнил о необходимости посещать храм, молиться за усопшего, зайти в храм за кутьёй и просфорой, посетовал на здоровье, что нужно делать операцию, и архиерей благословил, надо решаться. Все были нормальными людьми и понимали, что не Боги горшки обжигают, все знали, что он плавал в море капитаном, но вот Господь сподобил найти другую стезю. Я демонстративно достал приготовленные две бумажки и, чтобы видел попёнок, положил в карман священнику. Сами разберётесь, если заслужил, получишь.

На следующий день Геннадия Петровича отвезли к Нине Григорьевне, положили рядышком, как и жили.

Спите с миром! Царствия Небесного!

## ВЕРА

1973 г., 5 класс

Я был уже взросленький, ходил в школу с соседской девочкой, мы дружили всегда, сколько я себя помню, играли в классики и резиночки, штандер и восьмёрки. И в садик ходили за ручку, и в школу с цветами, и обратно с двойками — конечно, я, она была отличницей. После школы сдавал её бабушке Акулине во всегда открытую настежь калитку.

— Пришли Шерочка с Машерочкой? — Она довольно улыбалась, совала карамельку. И только потом шёл домой. Переодевался, обедал и делал уроки в своей комнате, смотрел в окно на противоположную сторону улицы, в котором происходило то же самое. Она обедала, пила чай из самовара и садилась делать уроки за дедушкин стол, который был виден в глубине комнаты. Мне был виден её сосредоточенный профиль, низко склоняющийся над тетрадкой. Я мог часами не сводить глаз со спускающихся локонов, которые она постоянно заправляла за ушко, забывая об уроках, что ждёт друг Сашка, а там, где Сашка, — там и Серёжка.

Наши бабки всегда спорили, ругались, соревновались, кто раньше открыл ставни, кто чище подмёл улицу, у кого больше георгины, у кого дурней собака, но есть фотография с пьющими чай, улыбающимися подружками у самовара.

Её бабушка неоднократно меня сватала:

— Скоро вырастите, я вас поженю, этот дом подпишу, будете здесь жить! Но сначала нужно школу закончить, потом профессию получить, работу найти, и тогда...

С первого дня, когда мы пришли за ручку в первый класс и сели за одну парту, учительница нас рассадила. На следующий день, думая, что она забудет, мы сели вместе, но учительница тут же рассадила нас.

Начались долгие и ненавистные четыре года учёбы в её классе. Если я ненавидел школу, то только из-за Людмилы Васильевны — первой учительницы. В этой женщине мне не нравилось всё: огромный рост, плоская грудь, квадратная голова, короткая стрижка, большие прозрачные глаза, звонкий, пробирающий до пяток, переходящий в визг голос, удары линейкой по пальцам, порой по голове, правда, не моей. Когда она подходила к парте, кровь стыла в жилах и останавливались все мыслительные процессы.

А как мне везло на встречи с ней после окончания школы! Не проходило недели, чтобы я не встретил её, «обожаемую», и Виктора Алексеевича, её мужа, учителя пения. По его предмету у меня за все восемь лет не было оценки выше двойки, преимущественно — колы. Представляю его дрожащие руки, когда в конце учебной четверти приходилось писать: «Зачёт». Ненависть ко мне у обоих зашкаливала, но об истоках — история умалчивает. Как меня надирало спросить об этом спустя много лет, когда они пригласили меня в свою новую однокомнатную квартиру посоветоваться по вопросу ремонта.

Так вот, в один солнечный день баба Акулина затеяла непростой разговор.

— А твои родители рассказывают тебе о твоей матери? — спросила она. —

О твоей родной матери?

Как потом я понял, разговор начался неслучайно.

Вопрос меня удивил: как же я не знаю своей матери? Она всегда рядом, особенно теперь, когда ей пришлось оставить работу на рыбокомбинате. Она неплохо зарабатывала, её очень уважали, портрет висел на доске почёта в разделочном цехе, я сам видел, когда ходил на демонстрацию 1 Мая. Мама показывала место, где работала. А теперь, сожалея, должна трудиться уборщицей в больнице с маленькой зарплатой и потерей уважения: «Кто такая уборщица?» Было обидно за неё, но из-за скачущего давления она находилась под постоянным присмотром врачей и полдня дома с нами.

— У тебя была другая мама, умершая во время родов, — говорила баба Акулина, а меня накрывала горячая волна — уши, щёки, начинал шмыгать нос, слёз не было, но руки и ноги дрожали, хотелось убежать. — Вот смотри! — И она положила на стол старую фотографию похорон: стоял на табуретках гроб, возле него отец, родственники, все соседи с нашей улицы, будто выходной и никто не работает. — Это похороны твоей матери, а вот это твоя бабушка Вера, рядом с отцом.

А я не сводил глаз с лица моей мамы, красивая и молоденькая. Как же так? Что случилось? Почему?

— Она жила рядом, через четыре дома по нашей стороне, с Генкой дружили с детства, как вы с Надькой, потом выросли, она училась с моей Валькой в техникуме, вот их фото на втором курсе. Вот Валька, вот Алька. — Сердце ещё раз обожгло, это имя я слышал, но когда? — Валька родила в июне, а Алька... — она сконфузилась, — ну, короче, после того, как это произошло, Валентина кормила и тебя. Сначала Надежду — потом тебя, поэтому вы не разлей вода — близнецы, как брат с сестрой «молочные». Завтра после школы приходи сюда, мы тебя с бабушкой будем ждать, и я вас познакомлю.

Огненный я выскочил из комнаты, искал Надю, хотелось поделиться, но её куда-то отправили.

Я пришёл домой, по-видимому, не в себе, потому что мама и бабушка тут же подбежали:

— Где ты был? Что случилось?

Скрывать или изворачиваться не стал. Рассказал, как было, и отрубился. До вечера ко мне не подходили, о чём-то шептались. Молчать дальше не было смысла, и бабушка решила. Достала из комода почти одинаковые фотографии, повторила рассказ Акулины, бабушка всё же сделала акцент на том, что Нина ни в чём не виновата, появилась года через три после того, как... Отец пытался наладить жизнь, но попадались женщины, хотевшие получить отца без тебя — оставь бабке, сдай в интернат, бездетные соседи Пономарёвы хотели тебя усыновить, только чтобы отец отказался от тебя насовсем. Он ни на что не соглашался, и только Нина вышла замуж без условий, хотя сама побывала недолго замужем. Вспомни, она всегда тебя любила и защищала, лечила и ухаживала.

Вечером было доложено отцу, и он ходил на разборки к Акулине — недолгие, но эмоциональные, разговора со мной не было.

Всю ночь перебирал разговор, фото, память.

Я вспомнил самую первую встречу с мамой!

Мы игрались с ребятами у колонки возле дома Пышмынцевых, на лавочке сидели соседки, и вдруг тётя Сима говорит:

— Витя, смотри, твоя мама из командировки приехала!

Было уже прохладно, и я был в вязанке, тёр холодный нос, вспоминая: «А какая она, мама? Что-то долго она была в командировке? Я уже и забыл, какая она». Стояли рядом с ней бабушка и тётя Тая.

— Иди быстрее! — позвали они. Незнакомой оставалась одна, я неуверенно подошёл и, как бездомный котёнок, ткнулся носом в стройные колени, обнял.

На затылок опустились мягкие тёплые руки и нежно прижали.

— Пошли домой! Ужинать!

Все собрались вокруг нас, шмыгая носами и украдкой вытирая слёзы.

— Наверно, тоже соскучились по моей мамке!

— Нечего нюни распускать, — сказала никогда не унывающая тётка Тая, и мы пошли есть арбуз все вместе.

На следующее утро мама, не находившая себе места, кружила, угождая мне, пока не сорвалась и не упала со слезами мне в ноги:

— Прости меня, сыночка, пожалуйста! — почти кричала, рыдая, она. — Мы не хотели, чтобы ты о чём-то догадывался, чтобы не испортить твои нервы. Ты же всегда был такой болезненный, мы боялись за тебя! Ну, что мне сделать, чтобы ты меня простил?

Честно говоря, я искренне не понимал, почему она так переживает. Да, меня поразило, что была другая мама, а больше жалость к красивой девочке, лежавшей в гробу. Но отношение к маме Нине не могло измениться.

— Мама, — как можно нежнее и спокойнее начал я, глядя её голову, лежащую у меня на коленях, — успокойся, пожалуйста, произошедшее не может изменить моё отношение к тебе. Я всегда знал только одну маму, и это ты! Другой у меня не было никогда и не будет. Вы с бабушкой самые родные и близкие, любящие и нежные. — Слёзы текли по моим коленям. — Пусть была первая, но её нет, и мы в этом не виноваты. Я чувствую твою любовь, вижу, как ты стараешься ухаживать за папой и мной, делаешь уроки, в больницу ходишь, есть родная сестрёнка — радостней и ближе существа у меня нет на земле.

— И она тебя любит, — уцепившись за ниточку, всхлипывая оживилась она, — сегодня сходи к Акулине, поговори с Верой, если хотите встретаться, мы не будем возражать.

Долго сидели обнявшись, вспоминая, сколько пришлось преодолеть и пережить.

Как жили в подвале строящегося дома, когда не то что крыши, но и каркаса дома не было, выходили из подвала на снег. Весной ведрами выносили из него заползающих ужей и лягушек.

Была печка и перегородка, за которой жили мы с бабушкой, одна высокая кровать с круглыми блестящими шарами, стол и три стула, мне приходилось сидеть на табуретке, слушали чёрный картонный диск радиоточки, орущий во всю мощь



или чуть слышно... В комнате не было выключателей, и нужно было вкручивать лампочку Ильича в патрон.

Как мне подарили гипсового полосатого кота-копилку, в которую я бережно собирал подаренные копеечки, как узнал, что мама собралась в роддом покупать ребёнка.

— Ну, кто останется, того и возьмём! Мальчик — будет у тебя братик, девочка — будет сестрёнка. Потому что девочки дороже, может денежек не хватить.

И я бежал к этажерке, на которой стоял красавец кот, бросил свою копилку, разбил и собирал всё до последней копеечки.

— Мамочка, забирай всю денежку, но смотри внимательно, там лежат мальчики — мальчики, много мальчиков, а среди них ма-а-аленькая девочка, вот ты её и возьми обязательно! Смотри не перепутай!

Мы плакали, как и тогда свидетели этой сцены.

Долгий месяц ждали возвращения, боялся, что мама опять уехала надолго в командировку, ездили в новый роддом на Ахшарумовой, и в окно четвёртого этажа нам показали девочку-куклу, запелёнатый кулёчек, из которого торчал только носик, а я скакал и кричал:

— Она самая красивая! Мы вас ждём! — Из соседних окошек выглядывали тётки посмотреть на горлопана.

Когда её привезли домой и положили в кроватку, я не отходил ни на шаг, любясь сморщенным носиком, шевелящимися губками и крошечными пальчиками.

Как строили дом, клали голландскую печь, и бесконечные папины командировки, чтобы заработать деньги — и опять строить. Ссоры, доходящие до истерик с бабушкой, чтобы доказать отцу, кто главней и нужней в доме. Пока мужик не поставил точку:

— Ещё раз поссоритесь — выгоню обеих!

Ремень отца в воспитательных целях и бабушку, стоявшую стеной, защищая меня:

— Он нам слишком дорого стоил! — И руки отца опускались.

Стояние в углу на горохе или гречке.

— Попроси прощения и иди гулять! Не попросишь, так и будешь стоять, пока не придёт отец! Всё равно придётся просить! — В углу я и засыпал, стоя на своём, в то время как сестра уже давно бегала по улице. Сколько врачей обошли, сколько зубов было спрятано под подушкой — они исчезали наутро.

Как маленькая Танька, схватив огромную палку, бежала выручать меня на улицу: «Итю бьют!»

Как мама, придя с работы, упала в обморок, узнав, что Тане соседские девчонки в игре сломали руку, и скорая помощь увезла её в больницу, а я, оглашенный, орал: «Мамочка, неужели она умрёт!» — и тётка Тая отпаивала её валидолом, пока не привезли загипсованную: «А вот и я — калечка!»

— Пора, — сказала, немного успокоившись, мама, — тебя ждут!

И я пошёл к Акулине.

Акулина — с лат. «как орлица», — но с тех пор это имя ассоциируется у меня с женщиной, сущей нос не в свои дела даже из благих намерений.

Баба Вера оказалась стройной женщиной лет пятидесяти, скромной, застенчивой, с глубоко посаженными бегающими глазками, с маленьким ротиком, не знающей, с чего начать разговор, и если бы не Акулина, разговор мог бы закончиться не начавшись. Да и говорить-то было не о чем. Меня видела впервые, после смерти дочери жить здесь, в Астрахани, не смогла. Оставила дом на родственников, влюбилась в мужика и уехала на север. В Тюмень, где жил её сын — Анатолий с семьёй, брат Аллы. Что случилось? Скорее всего, измена, он пошёл в лес и застрелился из двустволки. У него остался сын Сергей — твой брат, она не могла оставить внука на воспитание неверной жене и привезла сюда, оставит у родственников. Дом, где жила здесь, продали, и деньги разошлись. И ей остаётся возвратиться в Тюмень, где есть хоть квартира и работа.

Лично мне первый раз в жизни чужая женщина рассказывала свою трогательную историю, полную безысходности, и я пытался её понять.

Живёт женщина — потерявшая мужа на войне, воспитавшая и женившая двоих детей, ищущая любви, достатка, места под солнцем и не находит, почему? За что ей такие наказания: сначала муж, потом дочь, теперь сын — не приведи, Господи! Что ещё держит её в этой жизни? Как хватает сил жить дальше и на что-то надеяться, а надеяться на того, с кем уехала, по-видимому, уже не приходится. Об этом я никогда не узнаю!

Если не осталась жить с нами — у отца или в своём доме — уехала, понятно, связано с трагедией дочери, но ведь и там с женой сына не осталась. Забрала сына у родной матери, внука оставляет здесь родственникам, но не с собой — родной бабкой? Бросила меня, теперь Серёжку!

И дальше что? Кукушка!

Она совала мне десять рублей на конфетки, как и потом, много раз приезжая. Вызывала через посторонних, украдкой на десять минут, даже если жила у родных. Каждый раз не находя времени и тем для разговора ни о себе, ни о дочери, ни о родных, познакомила с братом, выбежавшим на тридцать секунд и умчавшимся назад — что-то было важнее меня. Опять на прощание совала деньги, которые я никогда не хотел брать. Наверное, по тем временам это были большие деньги. Бог весть, где и кем она работала, может, для неё были и последние, хотя на проезд сюда уходило гораздо больше. Деньги я себе не брал, отдавал маме, та всегда спрашивала:

— Может, ты что-то хочешь купить? — Я отказывался.

В последний раз она приезжала прощаться, встреча была на 9-й улице, я до сих пор не знаю, кто там жил, но ощущение осталось скверным.

За частоколом забора явно накрывали столы, шумели, смеялась молодёжь — подумал, наверное, пригласила познакомиться с родственниками. Позвал, вышла, как и не ждала, поздоровались за калиткой, сказала, что сейчас вернётся и ненадолго ушла. Скорее всего, взять очередной червонец, проходя через застолье её спросили «кто это?», но, услышав ответ «безразлично», продолжили. Баба Вера, как показалось, со слезами на глазах начала:

— Я уже стала совсем старой, мне всё сложнее приходится добираться сюда и дорого. Поэтому наша встреча, скорее всего, последняя, прости свою непутёвую бабу и прощай! Ты стал совсем большим, красивым, скоро получишь профессию и станешь самостоятельным человеком, будь счастливым и не поминай меня плохим словом.

Поцеловала в щёку, обдав холодом нервной дрожью, сунув десятку, убежала за гудящий забор. Смотрел на закрывшуюся калитку, хотелось подсмотреть, как она будет сидеть за столом, пить, смеяться... но поборол любопытство и свернул за угол. Стало спокойнее, и даже будто сняли груз с души, словно стал свободнее. Прошёл половину дороги, пока не заметил в кулаке трепещущую бумажку, хотел выбросить, но вспомнил, что маме всегда не хватает денег, и донёс до дома. На вопрос «откуда?» ответил «нашёл!». И родственники по маминной линии надолго исчезли из моей жизни.

Не скажу, что не задавался вопросом о судьбе бабы Веры, но никто не мог ответить, что-то внятное: уехала, приезжала, не знаем, Бог весть... Бог — судия!

Отношения с Акулиной и её семьёй с тех пор испортились, меня всё реже стали пускать делать уроки с Надей, занавеску на кухне стали задёргивать, значит, видели, как я наблюдаю, мы с Надей начали отдаляться, хотя с мамой Валею и дядей Лёшей ежедневно встречались, здоровались, и напряжения или неприязни никогда не чувствовал.

Последний раз мы с Надей и Виктором, другом и соседом, вместе отдыхали в пионерском лагере имени Кирова, и по старой пионерской традиции она мазала меня ночью зубной пастой, но эта забава была так далека от наших первых, чистых, братско-сестринских отношений. И на последней фотографии мы тоже далеки, хотя на всех школьных фотографиях мы всегда рядом.

В лагере Надежда начала заглядываться на мальчиков постарше, часто шепталась со сверстницами, появились секреты, тайные встречи, до меня впервые дошло, что девочки начинают взрослеть раньше. Нет, не создать семью, а просто заглянуть во взрослую жизнь.

К разрыву был готов, оставалось поставить точку. Вернулись в школу, её искания продолжились и здесь.

— Если ты ставишь третьего между собой и мной и выбираешь — он или я, я тоже имею право выбирать, с кем мне дружить!

Вместо ответа получил звонкую пощёчину при всём классе.

Было обидно? Конечно! Точка оказалась слишком жирной и несправедливой.

Урок остался на всю жизнь, что нельзя говорить о мечте и быть вторым.

После шестого класса они переехали в новую трёхкомнатную квартиру в город, и наши судьбы разошлись.

Встречая Акулину, когда уже и сам жил в городе, всегда приветствовал, маша рукой, а она звала посидеть поболтать.

— Все бегут, всем некогда! Нельзя так долго жить, — говорила она, вытирая мокрые руки о подол юбки, босая, с грязными ногами, поливая деревья на улице.

— Вот твоя бабушка правильно ушла, вовремя, когда все её любили и уважали. А мне уж больше восьмидесяти, живу, и никому не нужна, наши в город уехали,

как на другую планету, не дождёшься, Надьке с её... тоже некогда, Валерка сидит. Николай с Нинкой — умерли, молодым Вовке с женой — мешаю. А меня Господь не прибирает. — Ни разу в жизни не слышал, чтобы Акулина ходила в церковь. — Вот женились бы с Надькой, жили бы здесь, у меня...

Замолкала, теребила подол, потупив взгляд, дрожа подбородком.

А меня опять обдавало жаром, как много лет назад: «А не ты ли это начала, дорогая?»

И в башку лезли события, произошедшие здесь много лет назад, что пришлось пережить мне, сколько слёз и страданий маме, повлиявшие на изменение наших с Надей судеб...

Бог справедлив и милостив, зажмуриваясь, прощался.

# НЮРА

1966 г.

Ещё не открывая глаз, издалека, потом всё ближе и ближе и уже будто под окном раздаётся:

— Ку-ка-ре-ку! — Вздрагиваю и просыпаюсь.

Утро начинается с всепосёлочного петушиного хора! Ора — зовущего утро, хозяек, соперников.

Неугомонные солнечные зайчики уже скачут по стене, догоняя и наскакивая, перепрыгивая и убегая друг от друга. Пахнет ванилью и куличиками!

— Вста-а-вай, пора завтракать, — тихо и нежно говорит мама, глядя щекотучими пальчиками по спинке.

— Сначала нужно выпить святой водички, потом кусочек просвирки, освящённого яичка, а куличи в самом конце! — останавливает протянутую руку к куличу бабушка, только пришедшая из церкви. — А ещё раньше надо сказать три раза: «Христос воскрес!» — и трижды поцеловаться!

Все христосуемся, садимся за стол, кушаем крашеные варёные яйца и пробуем замороженного хохляцкого сала, присланного из маминого села, кушаем куличи с калмыцким чаем, творожную пасту с изюмом — самое счастливое время, когда вся семья за столом. Правда, есть ещё один член семьи, сыто спящий в своей кровати, и ей ещё не до сала.

— Я пойду отдохну, потом к Ольге — заждалась подружка, — начинает бабушка.

— А я схожу поздравить деда Андрея с бабой Шурой, зайду к Лёве с Марией, — продолжает отец.

— Смотри, не нахристосуйся там! После обеда нас ждёт баба Нюра, я обещала прийти показать Танюшку, — смущаясь, говорит мама.

— Ну что же, я совсем не понимаю. Вторую тёщу давно не видел, обязательно сходим!

Так он называл бабу Нюру, женщину, у которой квартировала мама, приехавшая из села в город на заработки. Слово «вторая» имело двойной смысл: она относилась к матери, как к дочке, и мать мамы звали Анной. Первая — мама Анна, вторая — тёща Нюра.

Если мы жили на 4-й улице, то она — на 6-й. Нумерация улиц сохранилась до сих пор, хотя официально каждая имеет своё название. Попробуй быстро вспомнить и произнести: Федеративная или Революционная, гораздо проще — 6-я и 4-я. Забыл — считай от реки! Река — Прямая Болда, первый вал, второй вал — не считали, так как река весной их заливала водой, а потом шли десять улиц до следующей — Кривой Болды.

Длинный бревенчатый сруб углового дома, на две семьи, два отдельных входа с разных улиц, две сестры — Анна и Мария и два совершенно разных характера.

Во дворе Анны перед домом деревянная площадка, навес, стол,

металлический шкаф с двумя керогазами, колонка с водой, ряд винограда и небольшой огород, где росли деревца и овощи.

Вторая часть двора принадлежала её сестре — Марии. Двор абсолютно пустой, не считая «вешалов» для сетки, чтобы не разлетались петухи и куры. Помёт оплётано всё! Стены, завалинка, наличники, окна, дорожки, заборы, курятник, гнёзда, яйца, курицы. Ни одной травинки, ничего — пустырь. Стоял только колун — пенёк дерева, Мария сама рубила башки, отпускала, и куры гонялись по двору, брызгая кровью, распугивая соседок, пока не успокаивались.

В доме: общий коридор, с парадной дверью на улицу и обычной во двор. В торце отгороженное место для четырёх керосинок — каждой сестре по две. Большое окно во двор. Комнаты симметричные, две тесовые двери, рассчитанные под морозы, одна — левая — Марии, правая — Анны, с иконкой архангела Михаила над ней.

В комнате Анны — зимняя кухня, русская печь, зал и спальня. На кухне — окно, столик и полка с рушником и Спасителем. В зале горка, шкаф и раздвижной стол. В спальне высокая кровать, накрахмаленные покрывала и накидки, окон нет — всегда темно. На полу самодельные тканые дорожки из ленточек, белая вязанная скатерть и салфеточки. В горке — нижняя полка с посудой, на верхних — иконы и книги, фотографии и свечи. Половина её коридора аккуратно выкрашена. Там стояли сундук с барахлом и фотографиями из журналов и две старинные лубочные картинки: на одной — бравый кавалерист 1812 года на вздыбленном коне с саблей, султаном на кивере, мелкий текст о победителях. На другой — царь Николай II, сияющий в лучах солнца, чёрных сапогах, орденах и медалях, царицей и детьми, с календарём праздников семьи и почитаемыми святыми.

Жила с достатком. Маленькая пенсия, но подрабатывала — читала, вернее отчитывала, покойников. «Отчитывала» — это не ругала, а такая традиция: положено три дня и три ночи в доме покойника читать Псалтирь: днём — успокаивая родственников, ночью — душу усопшего. Начинала с утра, вечером отдыхала, возвращалась к ночи и до утра читала — так три дня. Была набожной, ходила в церковь, сама красила дом, белила печь, сажала огород. Тучность не мешала активной жизни, румянность — вере, ухаживала и красила косу, подкрашивала губки, подружкам несть числа — общительна и гостеприимна.

У её сестры — Марии: половина коридора оклеена репродукциями из цветных журналов «Огонёк» и «Советский Союз» от пола до потолка, несмотря на рельеф бревенчатой избы. Портретами Ленина и Сталина, Гагарина и Терешковой, видами Москвы и пейзажами Союза. Разглядывать можно бесконечно! На стенах комнаты — обои, картины с лебедями и работы знакомого художника, на мебели цветные скатерти и салфетки, трельяж и тарелка репродуктора, на этажерке — граммофон со встроенной трубой и пластинки для личного прослушивания. Отдельный выход в свою половину двора. В квартире чисто и уютно, если не выглядывать во двор. Разводя курей, продавала мясо, яйца, пух на подушки. Сын заходил раз в неделю, принести мешок корма, справиться о здоровье, получить ведро яиц и немедля испариться.

— Всё! Пятнадцать минут на мать! Тридцать лет — ни дома, ни семьи, путается с бабами, явно не в отца! В кого такой? Каждая неделя другая, я уж и перестала запоминать, какую как звать!

Дочь хоть и была замужем, но жила не лучше. Приходила дочь, закрывали дверь, и доносились только наставительный бубнёж матери да пренебрежительный визг дочери, убегающей со вторым ведром через двадцать минут общения.

Мария худа, ленива и не ударит лишний раз палец о палец, носила яркие юбки, короткую стрижку.

— Как тифозная, — смеясь, говорила Нюра.

Всю жизнь обожала папиросы «Беломорканал» или «Казбек», смолила и витиевато ругалась.

Вместе объединяли праздники и гульба, любили пить и водочку да покупать новые одинаковые клеёнки.

— Пойдём? — умоляюще спросила мама вернувшегося отца. — Сколько времени просит зайти, сегодня такой повод.

— Я же обещал! Танька готова?

— Готова! Давно, только тебя ждём! Проснётся — перепеленаем, сумку я уже подготовила, её еда всегда со мной.

Отцу — две сумки, закутанную Татьяну — матери, и пошли. Только перешли улицу, мать вспомнила о яйцах:

— Забыли на столе, Витя, сходи возьми и догоняй. Мы тебя там подождём.

Я вернулся, взял яйца и пошёл обратно.

На перекрёстке под окнами бабушкиного дома сидели на корточках два «синяка». Перед ними стояла почти пустая бутылка водки и стакан. Один уже еле держался, раскачиваясь из стороны в сторону с поникшей головой и закрытыми глазами. Другой с закрученными рукавами, синими наколками на руках и огромным золотым цыганским перстнем — осоловелыми глазами, но бодрый и наглый.

— Опа, Миха, кто идёт нас поздравлять!

Миха покачал неподъёмной головой:

— Слышь, малой! Бабку идёшь поздравлять? Ма-ла-дец! А чё ты с нами не христосуешься?

— Христос воскрес!

— Воистину! Давай своё яйцо!

Я протянул.

— Оно ж не чищенное!

Я довольно быстро очистил и опять протянул, пока второй наливал себе в стакан. Одним глотком выплеснул в рот и положил туда яйцо, двинул пару раз челюстью и проглотил почти целиком. Я стоял поражённый.

— Благодарю! — Махнул рукой, чтобы я шёл дальше. — Извини, но водки мы тебе не нальём!

Миха крякнул, хотел сказать, посмотреть, но глаза не слушались, и я вошёл во двор.

На половине архангела Михаила шумела радостная суета, все крутились вокруг нового человечка, нашли ему место на кровати, обложив подушками. В доме тепло, солнечно, крахмально-тюлевые занавески, накрытый праздничной скатертью стол, посуда из горки, тарелки, рюмки, стаканы, соленья и картошка, пироги и куличи.

Бабы гомонили, на шум пришла Мария, комната наполнилась запахом крепкого табака. Поздравляли, обнимали, целовали.

— Нинка, молодец! Какая девочка хорошенькая получилась. Прелесть! Садитесь! Накладывайте. Генка, наливай по такому случаю.

— Витя, тебе вишнёвый или яблочный?

— Конечно яблочный, он слаще, а вишнёвый кислый.

— Специалист! — Все смеялись.

Выпили по одной, закусили. Между первой и второй промежуток небольшой! Разговоры, помидорчики и капуста, мясо и рыбка...

Воспоминания, как у нас это было, а что предстоит вам, но есть помощник, будет легче, и чокались со мной.

Наелись, успокоились, захмелели:

— Эх, был бы Ванька — сыграл! — лягнула Мария, осеклась, замолчала и сначала глухо Нюра:

— По Дону гуляет!

Потом звонко Мария:

— По Дону гуляет!

Потом и мама с отцом:

— По Дону гуляет!

И все вместе радостно:

— Ка-а-зак ма-ла-дой!

А дева там плачет,

А дева там плачет,

А дева там плачет,

Над быстрой рекой.

О чём, дева, плачешь?

О чём, дева, плачешь?

О чём, дева, плачешь?

О чём, слёзы, льёшь, — и пока все продолжали, баба Нюра, закрываясь руками, начала плакать.

Все замолчали и понурились.

— Это их любимая с Иваном, — Мария смотрела сочувственно, — любили её петь вместе. Нюрка, хватит, столько лет прошло, каждый раз одно и то же!

— Не могу. До сих пор как живой перед глазами стоит. Каждый вечер



говорим с ним. Винюсь! Я ведь в прошлом году его баян отдала Лёшке.

— Как так? Столько лет хранила.

Лёшка-сосед пришёл, замучил:

— Продай баба Нюра! Всё одно не пользуешься, а струмент работать должен. Я тебе десять целковых отдам!

Я ему:

— Лёшенька, да как же я тебе его продам — память!

А он одно:

— Продай да продай. Дай хоть посмотрю.

— Возьми! Там лежит.

Он достал, отстегнул ремешок, развернул, тряхнул мехами, а с него и посыпались резонаторы. Я заревела. Он испугался:

— Баба Нюра, извини, я не хотел, соберу, приклею, как новый будет.

А я ему:

— Ни о тебе Лёшенька плачу, видно, и наше время с гармошкой заканчивается. Забирай её с Богом, и денег не надоть. Починишь, твоя и будет!

Весь вечер вспоминала, как на 9 Мая доставала, ещё его, Ваниной, плюшевой тряпочкой протирала кнопочки, меха, прижималась, как прежде, щекой, закрывала глаза — твёрдый, тёплый и запах будто Ванин и песня в ушах...

Вечером сижу в огороде, чай пью, а Лёшка за забором играет — мне слышать. Как Ванечка мой когда-то, слушаю и реву. Она играет — значит, жива, может, и я ещё поживу. Мы с Марией родные сёстры, разница у нас два года, она в отца, я в мать. Тебе сколько было, когда встретились с Шуркой?

— Мне двадцать, тебе восемнадцать. А у них в три года разница. Александру — девятнадцать было, твоему — двадцать два. Родители ещё живы были, здесь жили.

— Как здесь?

— Так это же их дом. Они тоже родными братьями оказались. Как поженились, все здесь и жили. Родители, мы две пары, потом уж наши детки появились. Родители перед войной к родственникам в Белоруссию поехали, с тех пор ни слуху ни духу.

— А как вы познакомились?

— Мы с Нюркой тогда на бонзаводе имени Красина работали, а он на перевозе лодочником, это сейчас трамвайчики ходят, а тогда... Ма-а-ло-денький! Глаза — омут, чуб — вот эдак, плечи — вот такие. Утром мы к нему в лодку — прыг, — а он обходительный такой:

— Садитесь! Там подушечки, если что.

Скро-о-омненький! Как веслом загребёт, плечами поведёт, ветер водой брызнет в лицо, да ещё зыркнет глазищами — у меня аж сердце останавливалось. Ой думаю, беда! На ноги смотрит, а их уж и без того судорогой свело. То да сё, ля-ля-тополя!

Однажды дождь застал, когда назад плыли, только причалили, все разбежались, он меня — цап ручищей — и к себе в конурку, была там такая, чтоб отдохнуть. Ну мы туда! А ливень стеной, еле успели, мокрые, дождь ледяной, чайник на керосинку поставил, а всё равно зябко. С подоконника «Беломор» взял, закурил, дым — запах одуряющий, вроде теплей и уютней стало.

— Закуришь? Согреешься быстрее. — Сунул мне в рот свою папироску.

После первой затяжки горло запершило, обожгло, закашлялась. Он накинул на мои плечи полотенце сжал не-е-ежно так. А во рту приятно разливался вкус табака, голова закружилась и от курева, и от его близости, от его запаха. На губах почувствовала вкус его «Бе-ло-мо-рины»... — всё тягуче и тягуче, и совсем замолчала, опустив глаза на салфетку, комканную руками. — С тех пор папиросу не выпускаю изо рта. Будешь хоронить, не забудь положить пачку в гроб!

— Но ты куришь и «Казбек»! — заулыбались, разряжая обстановку.

— А это уже совсем другая история! — Все дружно засмеялись.

Мама сидела заслушавшись, сложив ручки под подбородок, отец рукой гладил её волосы, очнувшись, обратилась к бабе Нюре:

— Твоя очередь, расскажи.

— Да мне-то что, это Мария — охальница, соблазнила молодого.

— Чего это соблазнила, мы на следующее лето — всё честь по чести — поженились! Разница ведь один годик всего, ну, чуть постарше была! А потом и «грибочки» пошли — сначала Коленька, потом Оленька. Не виновата, что ты себе старика нашла!

— Совсем не старик, муж и должен быть старше жены. Он с четырнадцатого, я с восемнадцатого — у нас всего-то четыре года.

На Купалу — пятьдесят два отмечали бы. Свечки в церкви всё время Иоанну ставлю, а дома лампадка и не гаснет никогда, вон он стоит. Всё время со мной здесь, будто и не прощались. Помнишь, проводы: вокзал, народищу, паровозище вонючий дымит, все орут, а мой на гармошке...

— Береги, — говорит, — приеду будем на свадьбах играть да петь на паре.

Хорошо у нас получалось, у него голос звонкий, ясный, а у меня тягучий и дребезжащий, уж больно ему это нравилось: «За душу когтями и наизнанку!»

На свадьбе у Дуськи мы с ним и познакомились. Как по кнопочкам пальчиками переберёт, словно по рёбрам моим да по голому сердцу — да легко и нежно так. Мурашки от затылка до коленок. А силища! Как на свадьбе буза́ — зовут, гармошку в сторону, рукава в закат, глазища кровью наливаются, кулачища сожмёт.

— Што делим? Баб не хватает али мозгов! Зато водка есть, нутка сели и нальём, и выпьем, и про меня не забудем. — Выпьет. — А кто забудет, я здесь недалече! Подойду — успокою.

И непременно — кулак на стол, а он аккурат с кочан капусты.

После свадьбы как-то шли, на одном плече гармонь висит, на другом я. Выхо-одят двое, закурить да спички, мамзель да пощупать, гад такой! Ваня даже гармонь не снял. Один в кусты улетел, другой вместе с забором рухнул. А ты говоришь, устоять!

У меня коса тогда была с руку толщиной, сейчас, конечно, жидкая стала, хоть каждую неделю мажу кефиром — берегу, нравилась ему очень. Как начнёт пальчиками аккорды перебирать на голове, замираю, да наматывать волосы на кончики, пропускать гребёнкой сквозь них, а они скользят шёлком у него послушные — умираю от счастья, дышать забываю.

— А деток не успели?

— Зимой возвращалась с работы, через Болду, Мария работала в столовой, а я расчётчицей, собрались уж домой, подвода подошла, гдесь застряли, пока приняла, описала, стемнело. Иду, лёд хороший, прозрачный, и полоса снега — нет бы обойти дуре, наступила на него и провалилась. Хорошо, промоина узкая была, лицом на лёд упала, ноги, мокрые по пояс, один валенок уплыл, течение — жуть. Испугалась, выкарабкалась, домой бежать, вроде недалеко, а ноги ледяные, валенок под мышкой, юбка колом — продрогла. Потом ходила, надо было в баню бежать, тогда общественная баня там была на берегу, ближе — отогрели бы. Неделю в лазарете с температурой провалялась.

— В больнице?

— Какая там больница, лазарет он и есть лазарет, а из лекарств только один градусник да банка йода.

— А горчичники?

— Умные вы теперь, а не знаете — при температуре нельзя.

Может это повлияло, может нет, кто скажет, но детишек нам Бог не дал. Вот спасибо ты пришла ко мне на квартиру да оживила мою жизнь, как родная стала. — Гладила по голове маму.

— Генка! Береги её да наливай ещё по одной, што ли! Витька, не забудь конфетки, положи в карман и Танюшке не забудь!

— Ей ещё рано, и зубов нет.

— Ничего, поможешь! — Все смеялись.

Танька, услышав о конфетах, закопошилась, напоминая о своём существовании. На дворе темнело, заторопились собираться, чтобы не подняла ор, дома покормим, благо живём через улицу. Вышли из комнаты на веранду зимней кухни, пахло отрезвляющим запахом керосина.

— Тёща, а что же у вас потолок беленький, а пол — половина одной краской, а вторая другой?

— Так половину красила я, другую Мария. — Виновато переглянулись.

— И вправду, Генка, я летом куплю пару банок краски, а ты приди покрась!

— А я куплю пару рулонов обоев и стенки оклеим, — добавила мама. — Светлее будет!

Сёстры стояли рядом, виноватые, как школьницы: одна тёрла носком пол под иконой архангела, другая — рукой фотографии на стене.

— Нет, — сказала старшая, — вот помрём, пускай клеят, что хотят, хоть на потолок.

— Хорошая идея, надо предложить!

Я стоял и не сводил глаз с иконы главы святого воинства — кого же он мне напоминал?

— Нравится? — спросила баба Нюра. — Наш защитник от недугов, в руках его меч от ворогов — нечестных людей — архистратиг Михаил! У него есть родной брат-близнец Люцифер, или по-русски — Денница, оба ангелы, только один помогает Богу, а другой вредит.

И тут я вспомнил двух мужиков, сидевших днём у дома. Так вот кто охранял дом и с кем я сегодня христосовался!

Вышли на улицу проводить нас до угла.

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес!

Расцеловались, распрощались. Долго, пока мы не дошли до дома, две одинокие фигуры, обнявшись, смотрели вслед.

## 9 МАЯ — РУССКАЯ ПАСХА

1995 г. — 50 лет Победы!

Отец ходил вокруг огромного благоухающего куста белой сирени, выбирал кисти посвежее и аккуратно срезал секатором, собирая в большой букет. Праздничное настроение и прохладу весеннего дня дополнял запах сиреневой свежести.

— Дед обожает сирень, сегодня его праздник! Сейчас мать соберётся, и пойдём. Фотоаппарат возьмёшь?

— Зарядил!

Дедом он называл отца Марии, с ней и её мужем Лёвой дружили со школьной парты. Свои отцы погибли, и отец Марии стал им отцом на всю жизнь, всё свободное время проводили у него. Чинили лодки, разбирали моторы, вязали снасти, разводили червей для рыбалки, чистили и хранили ружья, отливали дробь, снаряжали патроны для охоты, строили да, что греха таить, выпивали.

Привольный двор, огород, деревья, сарай, гараж с двухместной «инвалидкой», лодка «Прогресс», кухня, дом. Места для большого стола человек на сорок предостаточно, скамейки, стулья и табуретки, на столе — что душе угодно. Мы были не первые, но вазу с нашей торжественной сиренью поставили на стол, вокруг благоухали вёдра с сиренью всех видов и оттенков, запах чувствовался на улице. Обнимали, поздравляли деда, одевшего новый пиджак со всеми орденами, помогали расставить и разложить угощения.

— Хочешь увидеть своего деда? — тыча меня локтем, говорил довольный дед Андрей, показывая на суетящегося вокруг стола отца, засмеялся: — Смотри, во — копия! И фигура, и повадки Петра.

Сели, никого не ждали, кто приходил, садились на свободные места и произносили тосты за Победу, деда, погибших.

Пели песни о войне, курили и опять пили.

— Дед, тебе мяса положить?

— Нет, не ем я жареного мяса, если только по осени — дичи, в охотку. Да ещё мою любимую не спели! Хлебнув из рюмочек, с улыбками, переглядываясь, начали, постепенно напрягаясь и выпрямляясь, и к концу стройным хором тянули:

— Он пил — солдат, слуга народа,

И с болью в сердце говорил:

«Я шёл к тебе четыре года,

Я три державы покори́л...»

Хмелел солдат, слеза катилась,

Слеза несбывшихся надежд,

И на груди его светилась

Медаль за город Будапешт!

И оглушила тишина. Потупились, глотая слёзы, глядя головки внуков, дед

сидел, закрыв глаза, мужики наливали по новой, где-то за заборами радостно залилась гармошка, и все очнулись.

— Нравится тебе, дед, эта песня?

— В ней, почитай, вся война и трагедия простых людей.

— Освобождал Будапешт?

— Дед, а ведь ты ни разу не рассказывал о войне. Медалей у тебя полна грудь, но все — юбилейные!

— Бабушка неделю к пятидесятилетию перешивала на новый пиджак! Все собрала.

— Мы тут пьём за тебя, а ты, может, в тылу просидел?

— А вот эту видел? — показывал на орден Красной Звезды. — За юбилей такую не дают, только за боевые заслуги!

— Рассказывай! Пока сам живой, да все внуки здесь сидят тебя слушают! Когда ещё соберёмся всей семьёй!

— О войне рассказывают и пишут только те, кто коснулся её по касательной.

— Это как понимать?

— А вот так, как ты говоришь — в тылу или штабе. Те, кто был в окопах по колено в грязи и крови, помалкивают, может, с однополчанами, когда напьются — вспоминают, — притих, перебирая салфетку на столе. — А у меня и однополчан нет.

— Что же не расскажешь?

— Никогда никому не рассказывал, вам расскажу в первый и последний раз. Пока, действительно, жив! И вы все собрались. Для меня вся война была всего минут пятнадцать!

— Как же так?

— Мне было тридцать, когда война началась. Сразу не призвали, на заводе нужен был, а уж когда к Сталинграду докатилась, брали всех подряд. Собрали, в вагон — и в Куйбышев. Попал в артиллерию, месяцев шесть на спецполигоне учили стрелять из пушки, гоняли хорошо, сноровисто получалось, а мы всё: «Когда на фронт гадов бить?» А нам: «Успеете ещё! Навоуетесь».

Пришло время. Старую форму, в которой нас гоняли, сняли, выдали новую, с иголочки, погоны дали сержантские, особо удачливым стрелкам — грамоты, новые пушечки в масле, снарядик к снарядику, погрузили на платформы, повезли. Приехал состав быстро, выдвинулись — бугор, справа лес, прямо поле: «Оттуда враг пойдёт, от сих до сих ваш рубеж обороны, окопаться и ждать!»

К вечеру накопились до одури, пушки начистили, снаряды разложили, ждём. Никого до утра, выспались, поели. Рама летит — самолёт-разведчик, высоко, далеко, подумали: «Соседей проверяет!»

Всё затихло, солнце, тепло, ребята раздеваться стали, а у меня дрожь какая-то, чтобы успокоиться, одел холодную каску на голову, а дрожь ещё сильнее. И тут слышим: «Са-а-молё-ё-ты!» Не дрожь была, а гул! И началось! Земля подпрыгнула и осталась висеть в воздухе, не успевала падать. Летало всё — бомбардировщики,

пушки, снаряды, окопы, брёвна, люди, как тряпичные игрушки, руки, ноги. Ещё выше столбы взрывов, кружили водовороты дыма, пепла, гари... запах горящего мяса. — Покосился на тарелку жаренного мяса, передёрнулся. — От батареи остались воронки и куча непригодного металла. Меня засыпало землёй, в голове: «Хватит! Довольно! Всё, Господи, достаточно!» А в груди снова дрожь, ещё сильнее! И опять они! Новый заход, и в этот раз взлетела земля, и я с ней вместе...

В полнейшей тишине я летел и видел всю батарею сверху! Остатки торчащего из земли металла и останки, бывшие несколько минут назад людьми. Полёт закончился у блиндажа, сверху прилетело бревно, и моя война закончилась.

Сидел долго, очки снимал, вытирал, надевал и опять снимал, шевелил губами, текли слёзы, наливала рюмку бабушка, молчали все.

— В медсанбате наши соседи рассказывали, как со стороны наблюдали за нашим «боем»: «Минут пятнадцать это длилось! Нам командир приказал после налёта проверить, что и как. Никого не осталось в живых. Вечером послали похоронную команду, прикопать да собрать, что осталось пригодного. Тебя уж закопали, кто-то увидел, что рука или пальцы зашевелились, бросились откапывать, шлем отстегнули — башка пополам, кровь, грязь, в санчасть еле дотащили!», — говорил, смахивая слёзы, почёсывая шрам через всю лысую голову средним пальцем, указательного не было. — Вот тебе и пятнадцать минут, а остальные два года по операционным да госпиталям, пока Шурка не забрала домой. Как нашла? Как довезла по разбитой стране? — ещё раз всхлипнул, постепенно успокаиваясь. — Вот теперь, пятьдесят лет живу и думаю, за что меня Бог оставил жить? Чем оказался лучше тех — более сотни погибших ребят? Чем оправдаться перед ними, что сделал за свою жизнь такого, за что не стыдно будет смотреть им в глаза? Ничего! — Блеснул глазами наверх.

Стояла тишина — гробовая, все забыли шевелиться.

— Давайте помянем, у них были свои семьи, дети! Кто-то ждал. И твоего Лёвка отца — Якова, и твоего Геннадий — Петра Борисыча. — Трясущимися руками опрокинул рюмку. — Всем Царствия Небесного!

Все пили, вспоминая своих отцов и дедов.

— И Григория, — тихо произнесла мать, перекрестилась, выпила, — Когда его провожали, я среди сестёр старшей была. И отец наказывал, чтобы матери помогала да хозяйство вела. «Старшая», — усмехнулась, — десять лет!

Собрали всех мужиков в селе: «Завтра явиться к сельсовету, с нижним бельём да едой на первое время!» Человек двести набралось — и отцы, и братья. Наутро с гармошкой, с песнями в центр села. Все поют, пляшут, самогон напоследок, обнимаются, целуются. Я одна повисла на шее и ору:

— Папочка, родненький! Не уходи! Мы никогда больше не увидимся!

— Да что ты, дочка, сейчас с мужиками поедем, немцам по шее надаём и вернёмся скóренько!

А я одно и то же, чувствовало сердечко, что навсегда! Еле оторвали, погрузили в два грузовика повезли на Баскунчак, кто не поместился, пешком пошли, бежала одна до околицы, пока пыль не осела. Поехали двести, вернулся один, в орденах и медалях — герой. Всё село ходило его щупать да обнимать как своего, повезло! Прожил несколько лет, пока однажды вечером не вернулся

второй. Узнал, что первый жив, пошёл к председателю, тот в район подался, на утро со смершевцами к первому, а тот уж холодный в сарае висит. На кладбище провожали всем селом.

— Да как же так, единственный из всех героем вернулся, всю войну прошёл, а тут «голова поехала»?

И выходит второй:

— Эх бабы, по ком плачете? Смотрите! — Сымает рубаху, а там месиво из рубцов. — Его работа! В лагере у немцев служил, Иуда, а как отступать начали, сюда с документами перебежал.

Могилу так и оставили не засыпанной, долго пустовала, а его в степи похоронили.

— Тоже помню, как отца провожали, — вспоминал отец, — мне шесть лет, сорок второй, повестка — явиться утром на нашу переправу у рыбокомбината, там, почитай, наш центр и был. Мост битком забит, помните, деревянный был от овощного магазинчика до пристани? Списки проверили, долго не валандались — дома попрощались, погрузили на баржу, повезли. Только они до того места доплыли, где сейчас мост железнодорожный стоит, налетел самолёт, бомбы бросил, строчил. Значит, и здесь враги были — доложили. Мы домой возвращались, не дошли до калитки, железяка прилетает и в ту калитку! Срезала начисто, она перед нами и упала. Сердце ёкнуло! Сразу поняли, что случилось, кинулись на берег Маневки, где остров начинается. А там уже весь посёлок, баржу разбомбило, бабы вой подняли, от него волосы дыбом, а они стоят по двум берегам и вылавливают своих, чужих, раненых. До утра отмыли, отчистили, просушили, в десять — списки проверили, посадили на новый паром, повезли в Сталинград. В сорок пятом весной к матери кто-то прибежал: «Натуська, бросай всё, беги на переправу, Петра привезли, раненый, но живой!»

Мать ни жива ни мертва бегом туда. Погрузили на лодку, перевезли, здесь кто-то помог донести: «Дети, папка вернулся!» Мы к нему, забыли уж какой, писем всю войну не было, думали погиб. Он плачет, хочет прижать, а не может — всё тело болит, всё ему там отбили. К вечеру отмыли, немного успокоились, начал рассказывать:

— Выгрузили, переодели — и в бой, в руку пять патронов, на троих одна винтовка. Один свои патроны отстреляет передаёт другому, добежите до врага, отнимете оружие — ваше будет. Я своим говорю: «Стреляю хорошо, дайте мне свои патроны и ружьё, лучше будет, я хоть попаду». Куда там, схватились и ни в какую. Так и бежали втроём, пока всех взрывом не накрыло.

Очнулся, темно, тихо, только лай какой-то. Подошли немцы:

— Вставай, Иван, если жить хочешь! Коммунист? — Мотнул головой. — Пошли!

В лагере среди поля колючая проволока, жара, жрать дают как собакам, бросят через колючий забор гнилой картошки или свёклы и смотрят, как мы грызёмся. Воды нет, туалета нет, всю траву вместе с соломой съели, через месяц начали увозить по лагерям, кто остался. Комсомольцев и коммунистов в первые дни расстреляли, у кого нервы послабее — не выдерживали, подходили к забору, а нельзя было, стреляли, там и валялись, пучась на солнце. В лагере кормили по распорядку, хотя и там было не лучше. Утро начиналось с обхода, начальник лично



обходил ряды и всматривался в наши рожи, кто не так посмотрел, не понравился, вид немощный — пулю в лоб. Каждый день человек пять. У них практиковалось на день отдавать пленных в работники, по хозяйству помогать, вот меня и брала одна фрау. На ферме хоть кусок хлеба перепал и стакан молока, от этого, может, и остался жив. Возвращался вечером — мутузили охранники, чем не угодил, неведомо, пока всё не отбили. Наши пришли, освободили, сюда привезли.

Сам не переставал кашлять и тяжело дышал, через неделю стало хуже. Мать договорилась отвезти его на подводе в Икряное, там у него отец был и дед ещё живой. Сейчас сел на автобус — через полтора часа в Икряном, а на подводе сутки ехали, растрясли. Дед на бахчах работал сторожем, весь день на воздухе, скотил помост повыше — ставший погостом. Сена, полог на ночь, там отцу лучше было и дышать полегче. До августа дожил, помер, там и схоронили. Всё-таки на свободе, не в лагере у немцев или у наших, всех из плена сажали на десять лет. Родные похоронили, а не лежит безвестным невесть где.

— А мой отец, когда с фронта вернулся, вошёл в дом, — встряла тётка Валя, — мать, чуть дыша, боясь до него дотронуться, со слезами говорит: «Валюшка, отец вернулся! Подойди, обними, поздоровайся!»

А я его первый раз в жизни вижу. Сидит чужой мужик — здоровый, небритый, колючий, как тёрка, посадил меня на каменное колено, форма жёсткая, линялая, вонючий от пота да махорки, аж в глазах зарябило: «Ну, говори дочка, кто к матери захаживал?» Ни конфетки, ни кусочка сахарку, ни по головке не погладил, ребёнку пять, а он через него мать проверять, я в рёв, мать схватила меня.

— Как язык повернулся, пять лет без тебя, три под немцами, трое детей — всех сберегла, что досталось? Пошёл вон! Скотина неблагодарная!

Истерика, насилие угомонили, неделю в сарае жил. Нет-нет, помирились. Я вспомнил дядю Сашу. Смотрели вечером новый фильм про войну, у них первых появился телевизор, и вся улица приходила смотреть чудо, нам двоим оставалось место только на крыльце дома. Он отходил и долго курил в сторонке.

— Не нравится фильм?

— Нет, Витя. Я за свою жизнь не видел ни одного фильма про войну.

— Почему?

— Как только слышу фашистскую речь, внутри всё сжимается вот так, потом дня два ничего делать не могу, пока не отойдёт. Перед глазами детство и они.

Чистые, холёные, толстые рожи и язык... будто во рту не помещается и, как железом по стеклу, губная гармошка, шоколадом нас, детей, угощали. Собак всех в первый же день перестреляли, потом за людей приступили. Виселица, собрания каждый день, то окруженцев, то мужиков в лесу найдут, судят и на верёвку, снимать нельзя. Возле колодца купаются голые, не стесняясь баб, стирались, бабы после них к колодцу боялись подходить — не потравили бы. Три года! Каждого четвёртого белоруса убили. — Прикуривал от закончившейся папироски новую, щурился от едкого дыма, отворачивался, уходил в чёрный сад.

— Я помню хорошо, весна сорок третьего, мы только закончили курсы медсестёр, — начала Раиса Леонидовна, — нас также на баржу, холодно, фуфаечки выдали, марли дали, чтобы по дороге себе повязок на лицо нашили, — и

в Сталинград. Битва только закончилась, и нас туда направили разгребать завалы, город с именем Сталина, нужно порядок наводить. Дня два плыли, километров пятьдесят оставалось — а в воздухе запах трупный, и чем ближе, тем сильнее. Плывём, плывём, а города нет, а вонь аж в глазах слёзы. По две маски одели не помогает, лишь брезгливость трясёт. Причалили. «Выгружайтесь!» «Куда?» «Где город-то? Одни развалины». «Выбирайте любые, расчистите — будете жить. Буржуйки и дрова сейчас привезём! Вода в реке, кипятить обязательно!» Каждый день разнарядка на расчистку дорог, домов, через месяц только улицы появились, специальные грузовики для трупов, лопатами сгребёшь в ведро и в кузов, кто их считал или разбирали, — чужие, свои, машина полна, везут на Мамаев курган, там выгружают. Воню всё пропиталось, и рвало, и мутило — какие повязки? Мыться каждый день заставляли, чтоб не подцепить чего, про еду забыли, в горло не лезло. Некоторые девчонки не выдерживали, убегали. А куда убежишь — степь, ловили. И по законам военного времени как дезертиров расстреливали.

— Моя тётка до сих пор весну ненавидит! — рассказывал Олег. — Она пережила блокаду в Ленинграде. Холод, изоляция, голод... Съели всё, что можно: собак, ворон, обои, кожу. Люди шли по улице замерзали, падали и больше не вставали, заносило снегом, превращались в лёд, кого-то увозили, сдавали, но больше оставалось. И вот пришла весна, и всё начало таять, и «подснежники» тоже. И вонь была такая же, как Раиса рассказывала.

Слёзы кончились — водка не кончалась, народ всё пил и пил не пьянея, кулаки сжимались — а воспоминания всё ходили и ходили, расширяясь по кругу стола.

Встала Раиса Леонидовна и, перед тем как уйти, спокойно сказала:

— 9 Мая для нас — русская Пасха! Слово «Пасха» по-русски — «проходящий мимо». Ангел смерти «прошёл мимо» еврейского народа.

Фараон не отпускал евреев из Египта, и Богу пришлось совершить последнюю, десятую, казнь египетскую — убить всех первенцев, а первенцы — это начало каждого народа. Богом дан завет — принести в жертву ягнёнка, а его кровью помазать косяк двери, чтобы ангел смерти прошёл мимо евреев. Они послушались и спаслись.

Это был Ветхий Завет — за два века до рождества Христова. Жертва Нового Завета, распятый на кресте Иисус — своей кровью искупивший грехи человеческие. Прошло ещё два века, и настал наш черёд. Россия — новая Голгофа и крест её — от Бреста до Владивостока и от Севастополя до Ленинграда, смотрящий основанием на восток, к Богу! А перекрестье — Москва — новый третий Рим. Предки взвалили на себя этот крест, а нести нам. Наш народ — жертва за грех! Какой — спросите вы? А я отвечу — неверия! Отказались от Бога — и ангел смерти мимо не прошёл. И ты, Андрей, жив остался, потому что имя Бога призвал на помощь! Виниться, вернее каяться, тебе перед товарищами не за что, а перед Богом чист!

Включили свет, налетели комары, стали расходиться, уводя детей. Старенькая баба Шура каждому раздавала сирень.

— Я уже два ведра занесла в комнаты — куда нам столько? Угорим! — улыбалась. — Высохнет, а вы поставите дома — деда вспоминать будете! — Обнимая очередное ведро с сиренью, окуналась в охапку цветов. — А за-а-пах... дышу и надышаться не могу — жить хочется!

## 9 МАЯ — РУССКАЯ «ПАСХА» ХУЛХУТА

1970 г.

Складывается мнение, что все дни детства солнечные и ясные, не было слякоти и непролазной грязи. Конечно, были, но оптимизм жизнелюбия не глядя переступает или не смотрит под ноги.

В воспитании счастливого советского человека не забывали о тех, кто завоевал право на свободу, прививали почтение к павшим героям, почитанию мест совершения подвига. Поездки в город-герой Волгоград, вахты памяти в Братском саду у Вечного огня, юнармейские парады на площади Ленина, посещение музея боевой славы, встречи с ветеранами войны, торжественные линейки, тимуровские отряды, конкурсы-инсценировки военной песни, стенгазеты...

Старшеклассники приводили в порядок памятники и могилы. Помню такое мероприятие и в нашей школе, нас послали на старое кладбище приводить в порядок памятник лётчику — Герою Советского Союза.

Срэзали колючие заросли барбариса, вынесли мусор, очистили старую краску, подмазали новой, особо тщательно пропеллер настоящего самолёта, народу много, работа скоро сделана.

Совсем рядом отреставрированная могила Ульяновых, новые тротуары, площадка для митингов и посещений небольшими делегациями, чтобы возложить венки и цветы родным великого человека, отмечающего 100-летний юбилей.

Чуть дальше по аллее загороженная площадка со строительством Мемориала павшим в Великой Отечественной войне, высокие бетонные стены с трёх сторон, в центре шпиль пирамиды, обошли, заглянули. Поразило, что на месте, где похоронены люди, возводят памятник тем, кто здесь не погиб.

— Строят на костях! Правда, и кости лежат не на своём месте. Стоял Храм сошествия Святого Духа, отдали раскольникам — потом снесли, хоронили людей — надгробия снесли, теперь... — порицала древняя старуха, наливавшая воды в ведро из огромной бочки. — Здесь должен храм стоять!

— А с этой стороны — овраг?

— Наши нехристи хотели скрыть холм кладбища, война началась, а яма осталась. Туда и скидывали змеёнышей, сдохших от ран в войну. Сгнили, наверное, и провалились в преисподнюю! — сплонула, перекрестилась и ушла.

1975 г.

К какому юбилею его открыли, не помню, скорее всего, к 30-летию Победы, но после открытия мы ходили к мемориалу возлагать цветы. Всё было совершенно новенькое и ровненькое, блестящее, и огонь горел, сверкали золотом буквы, а автоматы — лаком.

Толстые стены, как крепость, окружали центральный памятник, на вертикальных плитах — наборные таблички в алфавитном порядке с фамилиями и инициалами погибших астраханцев. В центре — куца пирамида, венок и орден

Отечественной войны, которым награждали солдат. Форма таких пирамид в то время популярна на обычных захоронениях людей. Всё говорило о том, что здесь почитают простых людей, без званий, наград независимо от того, где погибли. Вход ориентирован на юг — с видом на цветущие дачные участки.

Положили венок, цветы, поклонились павшим, самые глазастые заметили ещё один новый памятник в виде огромного чёрного католического креста внизу оврага.

— Там похоронены пленные, умершие в госпиталях города от ран в годы войны, — сказала наша учительница. — Сходите, положите им тоже цветочки, здесь у них нет родственников и прийти некому.

— Я боюсь, страшно, чёрный, как фашистский, — зачирикали девчонки, прячась друг за друга, и с цветами отправилась наша неразлучная троица.

Поклонный крест поражал своей величиной и чёрной элегантностью, остановился, прочитал табличку, почти дословно повторяющую слова учительницы, и замер, кольнула мысль: «Среди православного кладбища католический крест?» Потом другая: «Возлагать цветы погибшим нашим героям и тем, кто их убил?» Не укладывалось в голове — неправильно!

— Ты чего? Клади и пошли!

— Они убили моего деда, хотели уничтожить мою страну, — говорил я ребятам, — бабушка осталась без мужа, папа и мама — без отцов, голодали и жили в нищете, не учились — работали, людям пришлось восстанавливать разрушенные города, а где сёла, сожжённые вот этими уродами, а миллионы русских людей? — Руки сжимались в кулаки вместе с цветами.

Ребята положили свои букетики, а я сверху посыпал их своим истерзанным в крошево.

## ХУЛХУТА

2015 г.

В 70-летний юбилей Победы в рамках Всероссийского автопробега к 9 Мая профсоюзами организована поездка в Хулхуту. Колонна частных автомобилей, флаги Победы, СССР, России, наклейки и стикеры, венки и цветы. Сколько раз проезжали мимо по пути в Калмыкию, Краснодар, Сочи, останавливались, смотрели издали на серебряный монумент, лестницу, ведущую к нему, косились на закрытый музей белого кирпича, любой гараж в городе больше размером, интересовались мозаикой на остановке со схемами обороны и мчались дальше.

Сегодня мы ехали именно сюда. Все авто аккуратно разместились на стоянке, музей был открыт, и единственное окно тоже, нас ждали. Заглянул внутрь, передо мной зашло три-четыре человека, и место в музее закончилось, поразила лаконичность оформления, по периметру висели стенды, повторяющие мозаики на остановке, фотографии участников, табурет для зрителя да, пожалуй, и всё!

Развернули флаги, плакаты, взяли венки, определились с порядком шествия и пошли не спеша наверх. Снизу гора казалась совсем невысокой, но пришлось пару раз останавливаться, ждать растянувшуюся колонну, зато мне как фотографу раздолье: снять колонну со всех сторон, портреты участников — групповые и индивидуальные, летящие знамёна и волосы девушек, оживающую степь и весенние цветы в руках. На небольшой площадке из земли вырывались вверх два штыка, символизирующие рубеж обороны, и решётка ограждения. Вправо продолжался бугор, на котором стояли скромные прямоугольники, отделанные белым мрамором с табличками погибших.

Начался митинг. Профсоюзы доложили, что нашли средства на реставрацию объекта, сделанного безупречно, на что мы обратили внимание при подъёме. Ветераны напомнили, что именно здесь остановилась та самая страшная война, не дошедшая до нашего города несколько десятков километров. Именно отсюда и погнались назад эту свору голодных до чужого шакалов и гнали беспощадно до Берлина. Детиввоенной форме, в пилотках исполнили несколько песен, читали стихи и треугольные письма с фронта, получилось очень трогательно. Начали возлагать венки и цветы, но ветер сдувал всё нещадно, пришлось венки и цветы приматывать проволокой. Все уже продрогли, начали возвращаться, я решил посмотреть на мраморные плиты. Переступив ограждение, оказался на кладбище. Ежегодно в этих степях работают поисковые отряды и, собирая останки погибших, с почестью захоранивают. Ставят мраморные плиты с количеством найденных и именами опознанных. Я просто врос в землю, поражало не количество, после миллиона в Волгограде эти пятьдесят, сто человек... не казались умопомрачительными, но ГОДЫ жизни! Все они были двадцати- и двадцатидвухлетними мальчиками! ВСЕ!

Я проходил, читая и читая, каждого по фамилии и имени — вслух, ко мне присоединились люди — ещё и ещё.

Год рождения двадцатый — двадцать второй!

Дети, не успевшие пожить, влюбиться, почувствовать силу своих рук в работе, осуществить задуманное... их убили!

Одна надпись просто убила и меня, до сих пор стоит перед глазами:

«Зиновьев Иван Яковлевич,  
1920–1942,

Мл. политрук 157 отд. стр.

бригады под Хулхутой,

отражая контратаку,

противника тяжело

раненым попал в плен,

был распят и заживо

сожжён над окопами».

Голова шла кругом, здесь убивали наших мальчиков, звери, скопившиеся со всей Европы. Европа начинается отсюда, с этого бугорка, и вон туда, до запада, куда стремится раскалённое солнце. Почему оно не спалит его дотла — раз и навсегда? Сколько же ещё ждать оттуда бед и злобы, ненависти и несправедливости, Боже!

Мы проехали несколько километров, возвращаясь домой, съехали с дороги вправо, и остановились ещё у одного свежеекрашенного памятника с оградой. Здесь был полевой госпиталь, разбитый немцами, список ещё двадцати погибших ребят, того же возраста. С ними погибла Наташа Качуевская — Герой Советского Союза, её именем названы улицы в нашем городе, Волгограде, Москве. Когда звучат слова «Герой Советского Союза», выпрямляешься, представляешь седого героя в орденах, а здесь... Московская девочка двадцати лет, санинструктор, спасала от смерти мальчиков, перевязывала, успокаивала страдающих, обещала любить всех после войны, пока немцы не пошли в атаку на раненых и не убили всех! Она защищала их до последнего и подорвала себя гранатой.

Я никогда не забывал о фашистском кресте и несправедливости его нахождения на нашем кладбище и сейчас это видел ясно. Его не должно быть ни там, ни где-нибудь вообще и никогда!

В каком году провели первый крестный ход на кладбище в день 9 Мая?

Не знаю!

Иона — архиепископ Астраханский — родился 13 июня, за девять дней до начала войны в Москве, все трудности наших отцов почувствовал на себе, с 60-х годов начал своё духовное поприще, о чём говорили награды на груди, с которыми он гордо шёл во главе колонны.

— Снимай, снимай — не тушуйся! Пока живой, потом уж поздно будет. Уйду скоро на покой, и никогда больше не встретимся! — Поправляя крест и освобождаясь от помощи, улыбался в объектив.

Голос звонкий и решительный, но старенький и седенький поддерживаемый под ручки двумя молодыми людьми. Шли к братской могиле от церкви крестным ходом, звонили колокола, каждому встречному наклоняя голову, громко говорил:

— Христос воскрес!

Прохожие низко кланялись, уступая дорогу и со всей следующей за ним

толпой отвечали:

— Воистину воскресе! — И казалось, что количество выкриков возрастает по мере приближения к могиле Ульяновых.

Доходили до мемориала и, пока подтягивалась колонна, не спеша обходили все плиты с именами погибших, кланялись, кадили, выходили к центру памятника, а народ заполнял площадь. Священники вставали двумя рядами, как в храме, отслужили панихиду и провозгласили: «Вечная память вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим». Закончилась пасхальная служба апофеозом:

— Христос воскресе! — И все радостно отвечали. У меня сжималось сердце от благодарности к этим людям, пришедшим почтить память моего деда и всех погибших. Они, оживая, стояли рядом с нами и отвечали:

— Воистину воскреснем!

И архиепископ, стоя к нам лицом, выкрикивал три раза эти слова, туда, на юг, слёзы застилали солнечный день, отворачивался, вытирал украдкой глаза и опять видел католический крест.

Из памяти всплывало — крещение, священник, стоящий на месте Бога, и мы, смотрящие с ним в одну сторону на запад:

— Отрекаетесь ли от козней сатаны?

— Отрекаемся!

И троекратно плевали на запад, где был ад.

Сейчас происходило то же самое!

Мы находились в новом храме — под куполом с ясными бескрайними божественными небесами!

Иона — первосвященник, стоящий на амвоне, перед венком Вечного огня, иконостас — имена святых, погибших за Родину, царские врата — памятник, уходящий шпилем в небо, завершающийся спасской звездой. Священник, стоя на востоке, выкрикивал на запад: «Христос воскресе!» — и это звучало как: «Отрекаетесь ли от сатаны?», и все отвечали: «Отрекаемся! Воистину так!»

Вот теперь этому сатанинскому кресту и было то самое место! Теперь и я вместе со священником, как выплёвывая проклятия сатане, выкрикивал фашистам: «Воистину мы живы!»

Моя душа была на месте!

Ежегодно, очутившись на старом кладбище с православным крестным ходом, смотрю на всё ещё торчащий коричнево выцветший фашистский крест, представляю на нём — нет, не Христа, а Ваню Зиновьева — и, сжимая зубы, цежу:

— Будьте вы прокляты, ненасытные! Провалитесь со своей ненавистью в преисподнюю! — И с удовольствием троекратно плюю в его сторону!

## НИКОЛАЙ

1993 г.

В 90-х годах я работал на «трикотажке» — так называли трикотажный комбинат.

Предприятие по тем временам было огромным: 5 тыс. человек, в т. ч. иностранцы — вьетнамцы. В состав входили два производства: прядильное и трикотажное. Цеха: ровничный, прядильный, тростильно-крутильный, трикотажный, покрасочный, закройный, швейный, столярный, транспортный, литейный, пилорама, склады, бомбоубежище, магазины, две столовые, общежития, домá — короче, небольшой самостоятельный город. Я работал художником в прядильном производстве, куда входили ровничный, прядильный и тростильный цеха. Была основная группа художников, состоящая из пяти человек. Основным завоеванием группы считали наличие «творческого часа»! Нигде, ни на одном предприятии города, ни у одного художника не было оплачиваемого часа, который можно было посвятить творчеству. Это была заслуга главного художника Селюка Виктора Ивановича. В этот час можно было отложить любую работу и писать картину, рисовать, заниматься музыкальными инструментами, петь... да-да, существовали кружки художественной самодеятельности, спортивные, футбольная команда и стадион, дачное товарищество. Обязанности не пересекались, работы хватало всем.

Николай — руководитель основной группы художников — решил организовать «Группу эстетики». При оформлении крупных заказов, кроме художников, необходим столяр, который должен участвовать в общем процессе, и такого человека он нашёл в стройцехе, пригласил и меня. Все организационные вопросы были решены, и мы начали воплощение идеи. На это ушёл не один год работы и усилий, но группа полностью оправдывала существование. Практически это выглядело так: группа находит место для строительства мастерской под крышей комбината, наличие подъездных путей, воды, электричества, воздуховода для краскопульта (в процессе работы мы сделали три мастерские). Получаем в конце месяца заказ на оформление объекта, например комнаты отдыха. Начальник стройцеха проводит ремонтно-строительные работы — меняет полы, штукатурные и покрасочные работы, сантехники подводят водные коммуникации, электроцех делает распределительные щиты, свет, розетки, вентиляцию, охрана — противопожарную сигнализацию, и наводим лоск — мы. Необходимо было координировать подготовительные работы, организацию пространства, где и что будет, и прийти к одному решению. Собирали сразу всех участников и досконально всё обсуждали. На первом этапе это было самым трудным, каждый норовил сделать очень быстро свою работу и растаять в тумане с подписанными нарядами. Приходили художники, и начиналась переделка: ровная только покрашенная стена — приходит электрик и по центру проводит выключатель, если только его не опередил охранник со своей сигнализацией, и так далее. Идёшь уговариваешь одного, потом другого, объясняешь, что выключатель нужен ближе к входу или вообще со стороны цеха, что сигнализации место на потолке, а на стене должно быть «зеркало для баб-с» или «картина для души». Порой и покрасочных работ не требовалось, мы всё обивали фанерой или плитами, зеркалами, тканью. Через полгода эти вопросы постепенно утряслись.



Наша работа заключалась в следующем: планировка помещения, что необходимо в конкретном случае, встречались с руководителем, слушали, что ожидает получить в результате, здесь должно быть это, это и это, ни в коем случае вот этого, остальное на ваше усмотрение. Утверждаемых эскизов, как на первоначальном этапе, не делали. Нам доверяли полностью. В свою очередь, решали вопрос со стенами, как перекрашивать, докрашивать или полностью обшивать материалом, какую делать перегородку, глухую или прозрачную, и как её закреплять к полу и потолку, отделяя пространство для подготовки пищи, хранения продуктов, какой будет потолок, из чего, на какой высоте, монтаж, где и как ставить обеденные столики, стулья. Какие изделия вешать на стену — картины, росписи, тарелки, зеркала. Изготовление мебели — шкафов, банкеток, скрытых подсветок. Когда красить пол — сразу или после подготовительных работ, чтобы не перекрашивать после. В конце месяца принимали акт о проделанной работе, подписывали наряды, получали деньги и думали об очередном заказе. Ушло ещё несколько лет, чтобы отладить и своё производство. Кроме устройства мастерской, где есть рабочее пространство, должно быть и частное: рабочий стол с индивидуальным инструментом, книгами, подсобным материалом, шкаф для одежды, место хранения красок, место, где красить сразу листов пятнадцать фанеры, чтобы она сохла пару дней, а то и неделю, где красить рейки, палки, место для пескоструя — обработки стекла, место хранения этого материала, гвозди, шурупы, дрели молотки, гипсовые работы по отливке плит, тарелок, элементов декора, столярный станок для распиловки материалов на объекте, рамок для картин, токарный станок для изготовления балясин и токарных изделий, тележка для перевозки, мусорный ящик для отходов производства... И так до бесконечности в зависимости от работы и её срочности. Во времена перестройки приходилось рубить мясо, расфасовывать макароны, постоянно помогать, перевозить, таскать, делить.

На конечном этапе существования группы встал самый непреодолимый вопрос — пьянка. Находясь в «свободном плавании», Николай и Михаил позволили себе малую вначале и в конце разрушительную слабость — попить водочки. Скапливалась напряжённость работы, неконтролируемость начальством, большие деньги, самоконтроль отодвигался с каждым месяцем всё дальше и дальше, пока ситуация стала не контролируема. В начале месяца неделя уходила на удовлетворение удовольствий, потом полторы, затем две, по нарастающей. В восемь утра приходил на работу, а два соседа, жившие в одном доме, но в разных подъездах, начавшие с шести, уже были «в накаты».

— Ну, вы бы хоть позвонили, что сегодня не будем работать, я бы занялся домашними делами, съездил на дачу, порисовал, — начинал я ежедневно, и каждый день меня уверяли, что это последний раз и завтра непременно начнём и успеем в срок. Но приходил в восемь, и день сурка продолжался с выслушиванием домашних проблем и «сколько мы воды намутили», в смысле, сделали. Месяц заканчивался задержкой после работы, трясущимися членами тела и необходимостью отдохнуть в начале месяца. Замкнутый круг! Дошло до того, что меня поставили командовать этой неуправляемой бандой, чтобы не увольнять обоих. Николая трясла беспрестанная дрожь, руки не могли поднять стакан воды, приходилось носить в мастерскую обед и кормить его из ложки, потому что самостоятельно донести её до рта не мог, наливать в рот компот — зубы стучали о стакан, но ничего не помогало, пока в рот не попадала «живительная влага».

На работу не оставалось времени, а требования повысить расценки и, соответственно, зарплату звучали всё настойчивее.

Я вплотную занялся творческими изысканиями, плетением из картона, икебаной, оригами, объёмными куклами из бумаги, графикой, акварелью, росписью по тарелкам. Впервые, вернее дважды, попал на областное телевидение, областную художественную выставку. Первая персональная в библиотеке имени Крупской, театре кукол, дружил с газетой «Трикотажник» и «Остров», в прессе писали статьи обо мне, сам написал пару — одним словом, повезло. Тем временем основная группа художников начала переходить дорогу, перенимать заказы, применять отработанную нами технологию, а наши зачинатели уходили всё дальше и дальше от действительности.

В обычный день, не надеясь увидеть располагающую к работе обстановку, пришёл и поразился раннему присутствию Николая, абсолютно трезвого, но убийственно спокойного. Поздоровавшись, стал наблюдать за необычным действием. Николай вытаскивал свои книги, вещи, аккуратно складывал на край стола, кисти долго, тщательно мыл и чистил, вытаскивал баночки и тюбики с краской. Я молчал, было ясно, что человек собирается — и весьма основательно. Вошёл Михаил, получил от меня ответ на приветствие, и тоже замер, уяснив что происходит. Молча вопросительно мотнул головой, я так же молча пожал плечами. Время шло, вопросы росли, а ответов не следовало, сборы Николая закончились, и он молча устался в окно.

— Позвольте спросить, что здесь происходит? — начал я.

— Ничего особенного.

— Тогда извольте объясниться своими сборами.

— Я решил уйти, совсем. Всё, что я хочу оставить своим девчатам, я собрал, остальное — ваше.

— Решил, уйти, девчатам... насколько мне известно твоим девчатам на рисование, тем более красками, глубоко наплевать, но тем не менее ты их собрал? Решил уйти в другое место? Уж больно тревожно прозвучало: «Я решил уйти», не на совсем ли?

И тут невозмутимого Михаила прорвало:

— Ко-ля-я, тебя что, за язык тянуть надо?! Ты можешь сказать нормально, что произошло и что ты решил? Мать твою!

Из-за этих слов мёрзок спал, и Николай будто ожил:

— Нет, правда ребята, вы ни при чём! Просто сегодня ночью со мной кое-что произошло, и это должно полностью изменить мою жизнь.

— Я так понимаю, и нашу тоже, — беря стул и подсаживаясь ближе, сказал Михаил.

Я уже сидел рядом.

— Вчера, когда мы с тобой утром расстались, — начал Коля, обращаясь к Мише, — решили, отдохнём сегодня, а завтра на подвиги. Подумал — пойду на дачу, уберусь, протоплю баньку, попарюсь, вечером придёт Галка, немного выпьем, отоспимся и утром на работу, здоровеньким и бодреньким. Пошёл домой, договорился с Галкой, зашёл на базарчик, взял что надо, и на дачу. Там благодать

— тепло, тихо, птички поют, убрал огород, помыл полы в домике, баньку протопил, нарезал салатика и стал дожидаться Галку.

Жена звонит (у него на даче был проводной телефон, сотовых тогда у работяг не было): не то на работе задержится, не то у девчат что-то непредвиденное, только прибежать до темна не успеет, поэтому не жди. Пошёл в баньку, попарился хорошенько. Ждать некого, спешить некуда, — оживился Николай. — Пришёл распаренный в домик, уже темно, достал из холодильничка ледяной, за целый день согрелась, дождалась! Только я первую опрокинул и до салата не успел дотянуться, по телу озноб, и чувствую чьё-то присутствие. Так-то на дачах у нас спокойно, и никогда ничего, но железный пруток всегда под рукой мало ли что. И я за него, а из темноты.

— Не дури! Я не за тем сюда пришёл! — пробасил кто-то.

— А зачем? — А у самого каждая клеточка дрожит, по спине ледяной пот, трусы от него мокрые.

— Поговорить хочу, узнать, годишься ли для дела, которое тебе предложу. Во рту словно неделю воды не было, но всё же выдавил:

— А если откажусь? — Тут же разряд электричеством, и я свалился на пол. Очнулся, передо мной старик в чёрном балахоне, борода длинная, но не седая, глаза не злые.

— Договоримся так: я говорю — ты слушаешь, все вопросы потом. Я решил сделать из тебя помощника себе. Ты бросишь работу, жену, детей, тестя, квартиру — всё! Это убожество, — обводя рукой домик, говорил он, глядя сквозь меня.

— И дочек? — вырвалось у меня, и в следующее мгновение я опять валялся на полу в электроугаре.

— Я же сказал: я говорю — ты слушаешь и молчишь! Какие дочки? Очнись! Они ждут не дождутся, когда им стукнет восемнадцать. Через год ведь? — Я мотнул головой, боясь раскрыть рот. — Ровно через год, они выскочат замуж и первым делом убегут из твоего дома. Ты думаешь, что они в новую жизнь потащат за собой папашу-алкоголика? Или опостылевшую мамашу-истеричку, или старого деда, который подсматривает за ними? Может, тебе неизвестно о ветвистых рогах, которыми награждает тебя жена? Молчи!

Мне нечего было отвечать, он знал всё!

— Чтобы ты не сомневался, что мне известно всё, — читая мои мысли продолжал он, я тебе покажу вот это.

Я стоял на коленях, передо мной — табурет, на который я уставился, и время остановилось. По всем четырём ножкам поднимались солдаты, лошади, войска, разворачиваясь в ряды и колонны, на сидушке табуретки, которая превращалась в поле брани, начиналась схватка, битва, война. Одна заканчивалась, начиналась другая, вся история проходила перед глазами. Я не историк и не знаю, что там и чем закончилось, но ясно понимал, что не тем, чему нас учили. Рыцари сменялись уланами, кивера — шлемами, кони — танками, и действию не было конца.

— Ты понял?

Я замотал головой, боясь очередного разряда.

— Сейчас я дам тебе три послания, которые ты должен запомнить наизусть,

не записывая.

И последующее время я запоминал эти послания дословно. За каждую ошибку или оговорку он тыкал в меня пальцем, и я получал разряд.

Когда я запомнил, он продолжил:

— С этими посланиями ты должен поехать в город Псков, там есть монастырь. — и На табуретке потекла река, арочный мост, на берегу монастырь. Я всё видел замечательно, хотя очков на мне не было. — Ты придёшь к настоятелю, скажешь от меня, передашь послания и останешься там навсегда! Сначала обычным послушником, потом дойдёшь до настоятеля и станешь со временем великим старцем, люди со всей России будут идти к тебе — услышать твоё слово и решение.

— И исчез как не бывало, только теперь заметил рассвет и начало нового дня, бросил всё как было и пришёл сюда.

Молчали. Михаил курил не переставая, я перебирал в голове услышанное и понимал, если у него с головой на фоне пьянки — то группе конец, если всё правда — тем более. Но надо было что-то предпринимать, и я решил начать сначала, то есть с головы:

— Коль, а может, нам вначале сходить в медпункт? — Недавно мы делали там комнату для приёма кислородного коктейля, и дружеские отношения с главным терапевтом сохранились.

— Думаете, что я дурак? Пошли! — мирно согласился Николай.

— Сам хотел зайти.

И только тут я обратил внимание на его лицо. За окном горело солнце, и освещение стало ярче, а лицо Николая светилось. С детства и до сих пор каждую свободную минуту он любил давить прыщи у зеркала. В прыщавом возрасте выдавил что-то не то, и всю жизнь ходил с оспинами на серо-коричневом лице. А здесь я воочию наблюдал «преображение». Пропали оспины, лицо приобрело нормально-розовый оттенок, и даже очки пытался весь день снимать.

Заявившись в медпункт, я потребовал у врача отнестись к нашему визиту настороженно и коротко обрисовал ситуацию.

— Хорошо, я понял, — ответил эскулап и выпроводил нас с Михаилом. Ещё час мы стояли и обсуждали перспективы. Когда Николай вышел без смиренной рубашки, вздохнули свободней, и Миша пошёл с ним в мастерскую, я — к врачу.

— Ну, если бы он видел чёртиков, или на худой конец рыжих белок с пушистыми хвостами, или, наоборот, серых с длинными лысыми хвостиками мышек, то инструкции у меня на этот счёт имеются. Но лезть в непонятные отношения с силами, тем более в чёрном облики, прошу пардонить! Мне моя голова ещё не надоела!

По дороге встречались знакомые и все непременно спрашивали о Николае. Откуда утечка? Ведь мы сами только об этом узнали из первых уст. Как мог успокаивал и недоумевал: «Что за бред!»

Но нужно было искать выход, решать, спасти группу.

— Пишу заявление на увольнение, завтра получу расчёт, поеду к матери, а там недалеко и до Пскова, может, съезжу, посмотрю, есть ли такой монастырь.

Там и решу!

За это я и ухватился:

— Тебе не надо писать заявление на увольнение, напиши на отпуск, езжай к матери, в Псков, отдохнёшь, успокоишься, развеешься, а там видно будет. А сейчас домой — спать.

— Нет, домой не могу, пойдём в церковь сходим.

— Пошли! — Я был готов на всё. — А что ты говорил про послания, что в них было?

— Это я должен рассказать настоятелю.

— Это секретная информация? — настаивал я.

— Да нет, ничего такого не было, только мне записывать нельзя.

— Так давай я запишу, а ты только будешь говорить не записывая, — искал я компромиссы.

— Ну, ладно, пиши! — согласился он и начал диктовать.

Я напрягся, правильно ли делаю, вспоминая доктора, но желание узнать чужие секреты возобладало, ещё пока записывал, появились сомнения, но дослушав и дописав до конца, резюмировал:

— Коля, ты только не обижайся, если убрать красоты и эпитеты, которых здесь не счесть, то получим следующее: на Ближнем Востоке произойдёт землетрясение, обрати внимание ни места, ни даты, ни какой силы — нет. Погибнут люди. В Африке — разольётся большая река, утонут люди, и опять ни река, ни место не обозначены. Третья — умрёт Ельцин — будут похороны.

Я, конечно, извиняюсь, но не прошло и года, чтобы не услышать по телеку о землетрясениях в Афгане или Иране, не говоря об Армении, — в памяти осталась недавняя трагедия. В Африке каждые полгода разливы Конго и Лимпопо, и, конечно, гибнут люди. Строят не в тех местах без необходимых технологий, и отсутствуют спасательные службы. А что касается нашего неугомонного президента, посмотришь в зеркало, такими темпами это случится довольно скоро. К чему я веду? Да, если бы ко мне припёрся бедолага с трясущимися руками и начал буровить эдакое, да ещё ссылаясь на уважаемого мной человека, чтобы я сделал? — Все молчали. — Собирайся, пошли.

— Куда? — одновременно спросили они.

— В церковь! Сколько можно переливать из пустого в порожнее? — ответил я, встал, сжёг записку, и мы пошли в центр. Ехать Николай отказался. Надо было обдумать и осознать многое, да главное — хватить свежего ветерка, голова трещала.

Мы шли долго, вспоминали поездку в Москву с ежегодной выставкой лёгкой промышленности, сколько обошли и увидели: и мавзолей, и Оружейную палату, и МХАТ с «Зойкиной квартирой», как сидели рядом с Татьяной Дорониной и видели Веру Васильеву, Аристарха Ливанова, как попали на концерт «Машины времени» и слушали Андрея Макаревича, один вечер посвятили Московскому кинофестивалю, где трескали дармовые бутерброды с красной икрой и балычком. Крымский вал с выставкой Отто Херберта Хайека, поразившие картины, и как делали их жалкое подобие на трикотажке, покупали мне карманную Библию в глухой подворотне,

а Николай следил, чтобы меня не надули. Третьяковку и Пушкинский музей, где я хвалился любимыми импрессионистами и обожаемой Жанной Самари. Как ездили в Загорск, куда он никак не мог попасть.

— Столь интересной и насыщенной поездки никогда и никуда не было! Спасибо! — сознавался, оживая, он.

Мы подошли к нашей картинной галерее, и я вспомнил, что у них тоже есть библиотека, мы как раз хотели зайти посмотреть альбомы про Псков. Мы зашли, никого в коридорах не было, в фойе выставка книг по какой-то тематике, столик с расположенными в упорядоченном беспорядке книгами и вдруг Николай замер и молча показал на книгу. Я прочитал незатейливое название «Псков», он продолжал тыкать в небольшой овал на обложке:

— Это то самое место, которое он мне показывал!

— Подожди, отнял я у него книгу, если маленькое фото на обложке, значит, внутри обязательно есть большое. — Так и случилось, перевернув несколько страниц, мы увидели разворот и Николай присел.

— Да, большая река, длинный арочный мост, справа островок и слева монастырь и пятиглавая церковь. Это то место, которое было на табуретке! — опять затрясся он. Перевернув ещё несколько страниц, началась история монастыря, и мы увидели портрет старика, основателя обители.

— Это он приходил ко мне.

Через несколько дней он уехал. Начали думать, как будем управляться вдвоём, перебирали кандидатов из художников, кого пригласить к себе в группу, но не спешили, на что-то надеясь. Прошёл месяц, Николай вышел на работу, нехотя втягиваясь в будни, мы боялись даже затронуть зудевшую тему, и всё медленно возвращалось на круги своя.

— Навестил мать, покрестился:.

— Ты же крещёный?

— То было в детстве, а это осознанно!

Я не спорил, хотя точно знал, что так быть не должно. Дома ничего не менялось, были рады возвращению, дача, баня. Постепенно начал замечать мутные блестящие глазки, серость в лице, возвращающиеся оспины, выдавливание прыщей, разговоров о «чуть-чуть», потом по нарастающей, затем «в накаты»...

В обычное утро пришёл Михаил и сказал:

— Иди к начальнику, выписывай строительный лес, и пойдём делать гроб Николаю, памятник я уже заказал. — Сел, закурил, а у меня всё оборвалось. Пусть бросит нас, найдёт другую работу, уедет на Родину, в Псков, уйдёт в монастырь, но вот так не надо, так не должно быть. — Ничего не знаю, в обед придёт Галка, всё расскажет. — К полудню гроб был готов, насыпали побольше опилок, чтоб помягче, обили материалом в рубчик, на складе Кольке ничего не пожалели. Два дня красили памятник, только раза три изнутри, а сверху сиял, как холодильник, написали табличку.

Пришла Галина вся в чёрном, маленькая, сгорбленная, все бумаги оформила. Михаил плеснул ей для успокоения, и она начала свой рассказ:

— Мы решили ночевать на даче, убрались во дворе, я помыла полы, на обед

нарезала салатик, курица была. Коля говорит: «Грязный — пойду помоюсь, чтобы чистым за стол. Пошли вместе!» Довольный был, не часто выпадает вдвоём остаться, и на дачу из-за этого бежим. Дома девки уже большие, всё понимают, старый денег с пенсии не даёт, а жрёт за троих, да ещё и налей каждый вечер. Что-то жду, жду, а он не идёт, ну, думаю ждёт, чтобы я пришла ему спинку потёрла. Улыбаюсь, иду, открываю — баня полна пару, а его не видать, я ему: «Коля, Коля!», а его нет, дверь распахнула, чтобы немного прояснилось, и туда. А он лежит за печкой на бетонном полу, голый, как зародыш, кожа на лице висит клочьями, наверное, как котёл открывал или плескал для пара, его и окатило жаром. Внутри всё сжалось от боли, и что делать — не знаю. Смотрит сквозь меня, в никуда, крестится, повторяет одно и то же: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Я к нему — поднимать, тащить отсюда. И он вроде как пришёл в себя, и взгляд осознанный, и как заорёт: «А-а-а, это ты, су-у-ка! Всё из-за тебя!» Вскрикивает, и на меня с бешеными глазами, я ему: «Коля, тебе же больно!» А его уже не остановить, схватил ковш, думаю, ошпарит и меня — во двор, на улицу. День — на дачах никого нет, я по улице в сторону инфекционной больницы, он голый за мной, в голове: «Добегу до больницы, там люди и мне, и ему помогут, перевяжут». Больница за дорогой, вижу, он через дорогу перебежал и упал, думала поскользнулся, подхожу — нет. Всё! Сняла свою кофточку, прикрыла, прибежали из больницы, да что уж там, скорая подъехала, потом милиция, следователи, меня одеться не пускают: «Да я вот тут живу...» А он у дороги так до вечера и валялся.

Михаил налил ещё и ещё, слёзы, повторения, детали, ей и поговорить-то не с кем было. Мы ждали грузовик, чтобы везти гроб домой. На рабочем столе он и стоял, вокруг него сидели мы. В мастерскую мы везли его на нашей тележке, и он норовил соскочить на любой кочке и повороте, не хотел Николай возвращаться в мастерскую.

Дома лежал в маленьком зале и занимал почти всё пространство, места для житья и не оставалось, как они впятером здесь помещались. Лица видно не было, накрыли белым платком. На кладбище встал вопрос, снимать его или нет, желающих это сделать не было, но знатоков, что нельзя покрывать саваном закрытое лицо, предостаточно. Галина бегала вокруг и каждому предлагала резиновые перчатки, но все отбегали в сторону, пока я не вырвал перчатки: «Да что же, он чумной, что ли?» Вокруг остались только близкие, надел перчатки и снял платок.

— Это не мой папка! Это не он! — заорала младшая дочь и завернулась в мамкину кофту, кто-то завыл. Я очень много за свою жизнь видел смертей и масок, но эту оскаленную маску смерти не забыть вовек. Накрыли саваном, платок и перчатки в ноги, заколотили, закопали и забыли. Все и навсегда!

Посещая своих родственников на кладбище, навещал и могилку друга, краска и надпись сохранялись удивительно долго. Меняли прошлогодние цветочки, щипали колючки. На работе докладывал Михаилу: «Кто-то в этот раз приносил красные цветочки», а он отвечал: «Красные? Это мы с моей Галкой заходили на Вербное».

Девчонки, не прошло и года, выскочили замуж, за непьющих протестантов и разлетелись, понарожали детишек. Дачу продали. Галина нашла приличную работу в салоне связи и даже работала на кассе, оказалась красивой, умной и самостоятельной женщиной.

«Все испытания, с которыми вам приходилось сталкиваться, были ничем

иным, как обычными человеческими. Бог никогда не допустит, чтобы вы были испытываемы сверх сил, и Он верен Своим обещаниям. Когда вас постигает испытание, Он дает вам и выход, так чтобы вы смогли его перенести» (1 Кор.10:13).

А меня всю жизнь не отпускает один вопрос. Каждое знакомство с человеком, его судьба, должны быть нам неким уроком, чтобы мы что-то важное поняли, если не сумели понять при жизни, то смерть должна показать очевидное. Что я не понял при жизни Николая?

Был профессионал, удивительно порядочным и добрым человеком, увлекающимся и творческим. Нет! — не то, мы сами такими были.

Любил париться, а кто не любит? Человек умирает от того, что любит? Не высасывают ли нас наши увлечения, ради которых забываем работу, друзей, близких? Но не убивают! Близко! Но не то!

А вот если сейчас к тебе подойдёт некто и скажет «брось жену, детей, работу, увлечения — всё! Иди за мной! Будешь великим!» Сможешь? Сомневаюсь, я бы не смог!

Значит, знают, к кому идти и на что каждый способен, нет смысла идти и уговаривать того, у кого кишка тонка. Но ведь были и такие, кто шёл, — Богородица, апостолы, мученики, ставшие святыми, Симеон Столпник, Сергей Радонежский, Серафим Саровский, а сколько неизвестных работают над собой сейчас, в эту самую минуту? Не ждут славы, поклонения, просто работают над своей душой. А мы, глядя на них, тянемся к чистоте, простодушию, свету — к Богу!